

An impressionistic painting of a busy Moscow street scene, likely a square, viewed from the perspective of someone inside a car. In the foreground, the back of a person with short, wavy brown hair is visible, looking out the windshield. The windshield shows a reflection of the person's head. The street is filled with vintage cars from the mid-20th century, including a prominent dark car in the center. Pedestrians are walking on the sidewalks. The background features tall, multi-story buildings. The overall style is painterly and atmospheric, with a warm, slightly hazy color palette.

ВАСИЛИЙ
АКСЁНОВ

Московская сага

Книга первая

Поколение зимы

АЗБУКА-КЛАССИКА

18+

Московская сага

Василий Аксенов

**Московская сага. Книга
1. Поколение зимы**

«Азбука-Аттикус»

1993

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Аксенов В. П.

Московская сага. Книга 1. Поколение зимы / В. П. Аксенов —
«Азбука-Аттикус», 1993 — (Московская сага)

ISBN 978-5-389-22458-2

Василий Павлович Аксёнов – признанный классик и культовая фигура русской литературы. Его произведения хорошо известны не только в России, но и за рубежом. Успех пришел к Аксёнову еще в 1960-е годы, – откликаясь блистательной прозой на самые сложные и актуальные темы, он не один десяток лет оставался голосом своего поколения. В числе полюбившихся читателям произведений Аксёнова – трилогия «Московская сага», написанная в начале 1990-х годов и экранизированная в 2004 году. Трилогию составили романы «Поколение зимы», «Война и тюрьма», «Тюрьма и мир». Их действие охватывает едва ли не самый страшный период в российской истории XX века – с начала двадцатых до начала пятидесятых годов. Теплым вечером 1925 года вся семья Градовых собралась на профессорской даче в Серебряном Бору – так начинается повествование о трех поколениях этой семьи, которой предстоит пройти все круги ада сталинской эпохи: борьбу с троцкизмом, коллективизацию, лагеря, войну с фашизмом, послевоенные репрессии.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-389-22458-2

© Аксенов В. П., 1993
© Азбука-Аттикус, 1993

Содержание

Глава I	6
Глава II	17
Глава III	35
Глава IV	43
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Василий Аксёнов

Московская сага

Книга первая

Поколение зимы

*Лели-лили – снег черемух,
Заслоняющих винтовку.
Чичечача – шапки блеск,
Биээнзай – аль знамен,
Зиээгзой – почерк клятвы.
Бобо-биба – аль окольшиа,
Мипиопи – блеск очей серых войск.
Чучу биза – блеск божбы.
Мивеаа – небеса.
Мипиопи – блеск очей,
Вээава – зелень толп!
Мимомая – синь гусаров,
Зизо зеза – почерк солнц,
Солнцеоких шашек рожь.
Лели-лили – снег черемух,
Сосесао – зданий горы...*

Велимир Хлебников

© В. П. Аксёнов (наследники), 2019

© Ю. И. Пименов (наследники), иллюстрация на обложке, 2019

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство АЗБУКА®

Глава I

Скифские шлемы

Ну, подумать только – транспортная пробка в Москве на восьмом году революции! Вся Никольская улица, что течет от Лубянки до Красной площади через сердце Китай-города, запружена трамваями, повозками и автомобилями. Возле «Славянского базара» с ломовых подвод разгружают садки с живой рыбой. Под аркой Третьяковского проезда ржание лошадей, гудки грузовиков, извозчичий матюкальник. Милиция поспешает со своими пока еще довольно наивными трелями, как бы еще не вполне уверенная в реальности своей сугубо городской, не политической, то есть как бы вполне нормальной, роли. Все вокруг вообще носит характер некоторого любительского спектакля. Злость и та наигранна. Но самое главное в том, что все играют охотно. Закупорка Никольской на самом деле явление радостное, вроде как стакан горячего молока после сыпного озноба: жизнь возвращается, грезится процветание.

– Подумать только, еще четыре года назад здесь были глад и мор, блуждали кое-где лишь калики перехожие, да безнадежные очереди стояли за выдачей проросшего картофеля, а по Никольской только чекистские «маруси» проезжали, – говорит профессор Устрялов. – Вот вам, мистер Рестон, теория «Смены веков» в практическом осуществлении.

Два господина приблизительно одного возраста (35–40 лет) сидят рядом на заднем сиденье застрявшего на Никольской «паккарда». Оба они одеты по-европейски, в добротную комплектную одежду из хороших магазинов, но по каким-то незначительным, хотя вполне уловимым приметам в одном из них нетрудно определить русского, а в другом настоящего иностранца, более того, американца.

Парижский корреспондент чикагской «Tribune» Тоунсенд Рестон в течение всего своего первого путешествия в Красную Россию боролся с приступами раздражения. Собственно говоря, это нельзя было даже назвать приступами: раздражение не оставляло его здесь ни на минуту, просто временами оно было сродни ноющему зубу, в другие же моменты напоминало симптомы пищевого отравления.

Может быть, как раз с пищи все и началось, когда в день приезда советские, так сказать, коллеги – этот невыносимый Кольцов, этот ерничавший Бухарин – потчевали его своими деликатесами. Эта икра... даром что и в Париже сейчас безумствуют с икрой, нашли в ней, видите ли, какой-то могущественный «афродизиак»... но ведь это же не что иное, как рыбы яйца, медам и месье! Доисторическая рыба, покрытая хрящевидными роготками... а главное все-таки – это ощущение какой-то постоянной театральности, слегка тошнотворной приподнятости, бахвальства... и вместе с этим неуверенность, заглядыванье в глаза, невысказанный вопрос. Европу они, похоже, уже раскроили на будущее, но Америка сбивает их с толку. Рестона здесь тоже что-то сбивает с толку. Прежде он полагал, что знает пружины революций. Его репортажи из Мексики в свое время считались высшим классом журналистики. Он интервьюировал членов революционных хунт во многих странах Латинской Америки. Черт побери, теперь он видит, что «гориллы» по сравнению с этими «вершителями истории» были ему ближе, как и яблочный пирог по сравнению с проклятыми «рыбьими яйцами». Неужели большевики всерьез думают, что ворочают мирами? Все было бы проще, если бы речь шла просто о захвате и удержании власти, о смене правящей элиты, однако...

Готовясь к поездке, Рестон читал переводы речей и статей советских вождей. В конце августа РКП(б) была потрясена трагической историей, связанной с Америкой. Катаясь на лодке по какому-то озеру в штате Мэн, утонули два видных большевика, председатель «Амторга» Исай Хургин и Эфраим Склянский, ближайший помощник Троцкого в течение всех лет Гражданской войны. На похоронах в Москве всесильный «вождь мирового пролетариата» выдавли-

вал из себя слова какого-то странного, едва ли не метафизического недоумения: «...наш товарищ Эфраим Маркович Склянский... пройдя через великие бури Октябрьской революции... погиб в каком-то ничтожном озере...»

Эдакое презрение к озеру, недоумение перед «внеисторической» смертью; нет, они и в самом деле ощущают себя чем-то сродни богам Валгаллы или по крайней мере титанами из мифологии. Черт возьми, мало кто в Америке поймет, что они одержимы своей «классовой борьбой» больше, чем аурой власти... Революция, похоже, это не что иное, как пик декаданса...

Увешанный черными пальто и солдатскими шинелями трамвай тронулся и проехал на десяток ярдов вперед. Шофер наркоминдельского «паккарда», кряхтя, выворачивал руль, чтобы пристроиться в хвост общественному транспорту. Рестон, посасывая погасшую трубку, смотрел по сторонам. В мешковатой толпе иной раз мелькали чрезвычайно красивые женщины почти парижского вида. У входа в импозантное здание аптеки стояли два молодых красных офицера. Стройные и румяные, перетянутые ремнями, они разговаривали друг с другом, не обращая ни на кого внимания. Их форма отличалась той же декадентской дикостью, что и вся эта революция, вся эта власть: престраннейшие шапки с острыми шишаками и нашитой на лбу красной звездой, длиннейшие шинели с красными полосами-бранденбурами поперек груди, отсутствие погон, но присутствие каких-то загадочных геометрических фигур на рукавах и воротнике – армия хаоса, Гог и Магог...

– Простите, профессор, позвольте задать вам один, как мы в Америке говорим, провокативный вопрос. После восьми лет этой власти, что вы считаете главным достижением революции?

Чтобы подтвердить серьезность вопроса, Рестон извлек свой «монблан» и приготовился записывать ответ на полях своего «бедекера». Профессор Устрялов весьма сангвинически рассмеялся. Он-то как раз души не чаял во всех этих «икорочках» и «стерлядках».

– Милый Рестон, не подумайте, что я над вами смеюсь, но главным достижением революции является то, что Цека стал старше на восемь лет.

По правде сказать, даже этот его сегодняшний спутник с его спотыкающимся английским в сочетании с самоуверенными переливами голоса (откуда у русских взялась эта манера априорного превосходства перед западниками?) раздражал Тоунсенда Рестона. Фигура более чем двусмысленная. Бывший министр в сибирском правительстве белых, эмигрант, осевший в Харбине, лидер движения «Смена вех», он нередкий гость в Красной Москве. Последняя его книга «Под знаком революции» вызвала разговоры в Европе, а уж здесь-то ни одна политическая статья не обходится без упоминания его имени.

Зиновьев называет Устрялова классовым врагом, тем более опасным, что он на словах приемлет Ленина, говорит о благодетельной «трансформации центра», о «спуске на тормозах», о «нормализации» большевистской власти, о надежде на нэповскую буржуазию и на «крепкого мужа»...

Зиновьев иронизирует над Устряловым в типично большевистской манере – «курице просо снится», «как ушей своих не увидите кулакизации, господин Устрялов»... Бухарин называет его «поклонником цезаризма». Любопытно, на что и на кого делается намек в последнем случае?

Рестон в разговоре с Устряловым старался играть дурачка, поверхностного американского газетчика.

– Все возвращается на круги своя, – продолжал Устрялов, – ангел революции тихо отлетает от страны...

Рестон понимал, что он цитирует собственную книгу.

– Революционный жар уже позади... Победит не марксизм, а электротехника... Посмотрите вокруг, сэр, на эти разительные перемены. Еще вчера они требовали немедленного ком-

мунизма, а сейчас расцветает частная собственность. Вчера требовали мировой революции, а сегодня только и ищут концессионных договоров с западной буржуазией. Вчера был воинствующий атеизм, сегодня «компромисс с церковью»; вчера необузданный интернационализм, сегодня – «учет патриотических настроений»; вчера прокламировался беспрекословный антимилитаризм и антиимпериализм, давалась вольная всем народам России, сегодня – «Красная Армия, гордость революции», а по сути дела, собиратель земель российских. Страна обретает свою исконную историческую миссию «Евразии»...

По мере разгрузки подвод у «Славянского базара» движение по Никольской хоть и черепашьим ходом, но восстанавливалось. Проплывали мимо живые сцены и впрямь довольно оптимистической толпы. Октябрьский легкий морозец бодрил уличных торговцев.

Торговка пирогами и кулебяками розовощекостью смахивала на кустодиевскую купчиху. Веселый инвалид на деревянной ноге растягивал меха гармошки. Рядом торговали какими-то чертиками в стеклянных банках. Проезжающему американцу было невдомек, что диковинка называлась «Американский подводный житель».

– Ба, открылась Сытинская книжная лавка! – воскликнул Устрялов, обращаясь к американцу по-русски и как бы к своему, но потом, сообразив, что тому ничего не говорит это название, с улыбкой прикоснулся к твидовому колену. – В области литературы и искусства здесь сейчас полный расцвет, сэр. Открыты кооперативные и частные издательства. Даже газеты, хоть и все остались в руках большевиков, гораздо меньше пользуются трескучей пропагандой и больше дают прямой информации. Словом, болезнь позади, Россия стремительно выздоравливает!

С торцовой стены дома, что здесь, как и в Германии, именуется брандмауэром, смотрела афиша кинофильма – некто в цилиндре, смахивающий на Дугласа Фербенкса, завитая блондинка, которая вполне могла оказаться Мэри Пикфорд. Там же какие-то жалкие рисунки в кубическом стиле, большие буквы кириллицы. Если бы Рестон мог читать по-русски, он бы понял, что рядом с афишей голливудского боевика наклеен призыв Санпросвета «Вошь и социализм несовместимы!».

– Ну что же люди партии, армии, тайной полиции? – спросил он Устрялова (он произносил «Юстрелу»). – Вам кажется, что и они проходят такую же трансформацию?

С подвижностью, свойственной мягким славянским чертам, лицо профессора переменило выражение экзальтации на серьезную, даже отчасти тяжеловатую задумчивость.

– Вы затронули самую важную тему, Рестон. Видите ли, еще вчера я называл большевиков «железными чудищами с чугунными сердцами, машинными душами»... Хм, эта металлургия не так уж неуместна, если вспомнить некоторые партийные клички – Молотов, Сталин...

– Сталин, кажется, один из... – перебил журналист.

– Генеральный секретарь Политбюро, – пояснил Устрялов. – Основные вожди, кажется, не очень-то ему доверяют, но этот грузин, похоже, представляет крепнущие умеренные силы. – Он продолжал: – Только такие чудища с их страшными рефлекторами конденсированных энергий могли сокрушить российскую твердыню, в которой скопилось перед революцией столько порока. Однако сейчас... Видите ли, тут вступает в силу эрос власти, который у этих людей очень сильно развит. Машинные теории вытесняются человеческой плотью.

– Интересно, – пробормотал Рестон, непрерывно строча «монбланом» на полях «бедкера». Устрялов усмехнулся – еще бы, мол, не интересно.

– Мне кажется, этот процесс проходит во всех сферах, как в партии, так и особенно в армии. Вы вроде обратили внимание на двух молодых командиров возле аптеки. Какая выправка, какая стать! Это уже не расхристанные чапаевцы, настоящие профессиональные военные, офицеры, хоть и в странной, на западный взгляд, форме. Кстати, о форме. Принято считать, что она чуть ли не самим Буденным придумана, а она, между прочим, была заготовлена еще в шестнадцатом году по макетам художника Васнецова Виктора Михайловича, так

что здесь мы как бы видим прямую передачу традиции... Скифские мотивы, батенька мой, память о пращурах!

Устрялов вдруг прервался на восклицательном знаке и посмотрел на американца с неожиданным удивлением. Что он там пишет, как будто понимает все, что я ему говорю? Кто из них вообще может это постичь, невнятицу срединной земли, перемешанного за пятнадцать веков народа? Всякий раз приходится обрывать себя на экзальтированной ноте. Сколько раз твердил себе – держись британских правил. Understatement – вот краеугольный камень их устойчивости. Он кашлянул:

– Что касается ОГПУ, или, как вы это называете, тайной полиции... Как вы думаете, еще четыре года назад смог бы эмигрантский историк развезжать по Москве с иностранным журналистом в машине Наркоминдела?

– Значит, вы не боитесь? – спросил Рестон с прямою кватербека, посылающего мяч через полполя в зону противника.

Машина тем временем уже проехала всю Никольскую и остановилась там, где ее, очевидно, просили остановить заранее, возле вычурного фасада Верхних торговых рядов. Здесь профессор Устрялов и американец Тоунсенд Рестон, представляющий влиятельную газету «Чикаго трибюн», покинули экипаж и далее проследовали пешком по направлению к Красной площади. Напрягая слух, шофер еще некоторое время мог слышать высокий голос «сменовеховца»: «...Разумеется, я понимаю, что мое положение до крайности двусмысленно, – в кругах эмиграции многие считают меня едва ли не чекистом, а в Москве вот Бухарин на днях объявил...»

Дальнейшее было покрыто гулом хлопотливой столицы.

Едва лишь две фигуры в английских пальто скрылись из виду, к «паккарду» подошел некто в мерлушковой шапке, субъект с усиками из той породы, что до революции назывались «гороховыми» и не изменились с той поры ни на йоту.

– Ну что, механик, о чем буржуи договаривались? – обратился он к шоферу.

Шофер устало потер ладонью глаза и только после этого посмотрел на обратившегося, да так посмотрел, что шпик сразу же осел, тут же сообразил, что перед ним и не шофер вовсе.

– Уж не думаете ли вы, любезнейший, что я в а м буду переводить с английского?

Вдруг над Верхними торговыми рядами и над запруженными улицами старого Китай-города полетели «белые мухи», первый, пока еще легкий и бодрящий, снегопад осени 1925 года.

Между тем молодые командиры, чья внешность навела двух джентльменов из пролога, которые, очевидно, больше и не появятся в пространстве романа, на столь серьезные размышления, все еще продолжали беседовать у подъезда аптеки Феррейна.

Комбриг Никита Градов и комполка Вадим Вуйнович были ровесниками и к моменту начала повествования достигли двадцати пяти лет, имея за плечами несметное число диких побоищ Гражданской войны, то есть они были, по тогдашним меркам, вполне зрелыми мужчинами.

Градов служил в штабе командующего Западным военным округом командарма Тухачевского, Вуйнович занимал должность «состоящего для особо важных поручений при Реввоенсовете», то есть был одним из главных адъютантов наркомвоенмора Фрунзе. Друзья не виделись несколько месяцев. Градов, коренной москвич, по долгу службы обитал в Минске, тогда как уралец Вуйнович после назначения в Реввоенсовет заделался настоящим столичным жителем. Эта превратность судьбы немало его забавляла и давала повод посмеяться над Никитой. Прогуливаясь с другом по Москве, он подмечал театральные афиши и как бы мимоходом заводил разговор о премьерах, а потом как бы спохватываясь: «Ах да, у вас в Минске об этом еще

не слышали, эх, провинция...» – и далее в этом духе, словом, вполне добродушный и даже любовный эпатаж.

Впрочем, о театрах эти молодые люди в буденовках говорили мало: разговор их то и дело уходил к более серьезным темам; это были серьезные молодые люди в чинах, каких в старой армии нельзя было достичь, не преодолев сорокалетнего рубежа.

Никита прибыл в Москву вместе со своим главкомом для участия в совещании по проведению военной реформы. Совещание предполагалось в Кремле, в обстановке секретности, ибо в нем должен был принять участие чуть ли не полный состав Политбюро РКП(б). Секретностью уже тогда все они были одержимы. «Партия по привычке продолжает работать в подполье», – повторяли в Москве шутку главного большевистского остряка Карла Радека. Дело несколько осложнялось тем, что шеф комполка Вуйновича, председатель Революционного военного совета, народный комиссар по военным и морским делам Михаил Васильевич Фрунзе вот уже более двух недель находился в больнице с обострением язвы двенадцатиперстной кишки. ЦК, по-братски заботясь о здоровье любимца всех трудящихся, легендарного командарма, сокрушителя Колчака и Врангеля, предлагал провести совещание в его отсутствие и поручить доклад первому заместителю председателя РВС Уншлихту, однако Фрунзе категорически настаивал на своем участии, да и вообще на несерьезности своего недуга. Это и было главной темой разговора между двумя молодыми командирами у порога аптеки Феррейна, где они поджидали Веронику, жену комбрига Градова.

– Нарком просто бесится, когда ему говорят об этой проклятой язве, – сказал Вуйнович, широкоплечий человек южнославянского типа, с щедрой растительностью в виде черных бровей и усов, не обделенный и яркостью глаз. Выросший в заводском городке на Урале, он прошел со своим эскадроном до южного берега Крыма и тут, среди скал, пенистых волн, кипарисов и виноградников, понял, где лежит его истинная родина.

Романтического соблазна ради мы должны были бы сделать Никиту Градова противоположностью его друга, то есть отнести его к северным широтам, к некоей русской готике, если таковая когда-либо существовала в природе, и мы были бы рады это сделать, чтобы добавить в скифско-македонский колорит еще и варяжскую струю, однако справедливости ради мы преодолеваем соблазн и не можем не указать на то, что и Никита, хотя бы наполовину, соотносился со средиземноморской «колыбелью человечества»: его мать, Мэри Вахтанговна, была из грузинского рода Гудиашвили. Впрочем, в наружности его не было ничего грузинского, если не считать некоторой рыжевато-и носатости, что можно с равным успехом отнести и к славянам, и к варягам, и по крайней мере с неменьшим успехом к не вовлеченным еще в мировую революцию ирландцам.

– Послушай, Вадя, а что говорят врачи? – спросил Никита.

Вуйнович усмехнулся:

– Врачи говорят об этом меньше, чем члены Политбюро. Последняя консультация в Солдатёнской больнице пришла к заключению, что можно обойтись медикаментами и диетой, однако вожди настаивают на операции. Ты знаешь Михаила Васильевича, он на пулеметы пойдёт – не моргнет, но от ножа хирурга приходит в полное уныние.

Никита отогнул полу своей длинной шинели и достал из кармана ярко-синих галифе луковичу золотых часов, награду командования после завершения мартовской кронштадтской операции 1921 года. Вероника пропадает в дебрях аптеки уже сорок минут.

– Знаешь, – проговорил он, все еще глядя на дорогую, тяжеленькую великолепную вещь, лежащую на ладони, – мне иногда кажется, что далеко не всем вождям нравятся слишком бодрые командармы.

Вуйнович затянулся длинной папиросой «Северная Пальмира», потом отшвырнул ее в сторону.

– Особенно усердствует Сталин, – резко заговорил он. – Партия, видите ли, не может себе позволить болезни командарма Фрунзе. Может быть, Ильич был не прав, а, Никита? Может быть, «этот повар» не собирается готовить «слишком острые блюда»? Или как раз наоборот, собирается, а потому так свирепо настроен против диеты и за нож?!

Градов положил руку на плечо разволновавшегося друга – «спокойно, спокойно», – выразительно посмотрел по сторонам...

В этот момент из аптеки наконец выпорхнула Вероника, красotka в котиковой шубке, сигналившая вспышками голубых глаз, будто приближающаяся яхта низвергнутого монарха. Пошутила очень некстати:

– Товарищи командиры, что за лица? Готовится военный переворот?

Вуйнович взял у нее из рук довольно тяжелую сумку, – чем это можно обзавестись в аптеке таким увесистым? – и они пошли по Театральному проезду, вниз, мимо памятника Первопечатнику в сторону «Метрополя».

Всякий раз, когда Вуйнович видел жену своего друга, он делал усилие, чтобы избавиться от мгновенных и сильных эротических импульсов. Едва лишь она появлялась, все превращалось в притворство. Правдивыми его отношения с этой женщиной могли быть только в постели или даже... Холодея от стыда и тоски, он осознавал, что готов был сделать с Вероникой примерно то, что однажды сделал с одной барынькой в захваченном эшелоне белых, то есть повернуть ее спиной к себе, толкнуть, согнуть, задрать все вверх. Больше того, именно эта конфигурация вспыхивала перед ним всякий раз, когда он видел Веронику.

Хамские импульсы, бичевал он себя, гнусное наследие Гражданской войны, позор для образованного командира регулярной армии красной державы. Никита – мой друг, и Вероника – мой друг, и я... их замечательный друг-притвора.

Возле «Метрополя» расстались. У Вуйновича в этом здании прямо под врубелевской мозаикой «Принцесса Грёза» была холостяцкая комната. Градовы поспешили на трамвай, им предстоял долгий путь с тремя пересадками до Серебряного Бора.

Пока тряслись по Тверской в битком набитом вагоне с противными запахами и взглядами, Никита молчал.

– Ну что опять с тобой? – шепнула Вероника.

– Ты кокетничаешь с Вадимом, – пробормотал комбриг. – Я чувствую это. Ты сама, может быть, не понимаешь, но кокетничаешь.

Вероника рассмеялась. Кто-то посмотрел на нее с удовольствием. Смеющаяся в трамвае красавица. Возврат к нормальной жизни. Суровая бабка в негодовании зажевала губами.

– Дурачок, – нежно шепнула Вероника.

С прозрачных зеленеющих и розовеющих небес летел редкий белый пух, легкий морозец как будто обещал гимнастические конькобежные радости. Они проехали ветхий развал Хорошево, потом трамвай, уже полупустой, побежал к концу маршрута, к кругу Серебряного Бора. Вековые сосны парка, подернутое первой морозной пленкой озеро Бездонка, заборы и дачи, в которых уже зажигались огни и протапливались печи, – неожиданная идиллия после суматошной и, как всегда, отчасти бессмысленной Москвы.

От круга нужно было еще пройти с полверсты пешком до родительского дома.

– Что у тебя такое тяжелое в сумке? – спросил Никита.

– Накупила тебе брому на целый месяц, – бодренько ответила Вероника и искоса посмотрела на мужа.

Страдание, как всегда, сделало смешным его веснушчатое лицо. Он смотрел себе под ноги.

– К черту твой бром, – пробормотал он.

– Перестань, Никита! – рассердилась она. – Ты уже две недели не спишь после командировки. Этот Кронштадт тебя окончательно измотал!

Октябрьская командировка в морскую крепость выглядела обычной деловой поездкой высшего командира – спецвагон до Ленинграда, оттуда рейдовым катером к причалам Усть-Рогатки. В гавани, на берегу и в городе царили полный порядок, мерная морская налаженность всех служб. Чекая шаг, в баню и из бани, проходили взводы чернобушлатников. Иные хором пели «Лизавету». На линкорах отрабатывали приемы сигнализации. Пеликанами сновали над бухтой новомодные гидропланы. Куски времени отмерялись для всех присутствующих четкими ударами склянок. Чистый морской, как бы английский и уж, во всяком случае, очень отвлеченный от российской действительности мир.

Ничто и никто не напоминает о событиях четырехлетней давности. Только один раз, поднимаясь на форт «Тотлебен», он услышал за спиной спокойный голос:

– Я вижу, товарищ комбриг, путь вам хорошо знаком.

Он резко обернулся и увидел глаза старшего артиллериста. «Вы... вы здесь были?.. Тогда? Возможно ли?..» Позднее Никита мучился, осознав, что за этим недоумением читалось другое: «Почему же не расстреляны?»

– Я был в отпуске, – просто сказал артиллерист, не выражая решительно никаких эмоций.

– А я штурмовал ваш форт! Поэтому и путь знаю! – не без вызова приподнял голос Никита, хотя и понимал, что вызов вроде направлен не по адресу, что уж если не расстрелян артиллерист, значит обложен доверием, иначе бы непременно разделил судьбу тех, кто отвечал перед народом и революцией за тот яростный антибольшевистский взрыв марта 1921 года.

Очевидно, все-таки не совсем не по адресу была направлена фраза, если судить по тому, как артиллерист отвел глаза и молча сделал приглашающий жест вверх по трапу – прошу, мол, осчастливьте!..

Весь день Никита занимался проверкой установки новых обуховских орудий на фортах «Тотлебен» и «Петр I», вместе с представителями завода и командования Балтфлота вникал в документацию и устные пояснения артиллеристов и только к вечеру, сославшись на усталость, оказался один и ушел пешком в город.

Кажется, он уже отдавал себе отчет, что его тянет туда, на Якорную площадь, в центр тогдашних событий.

С приморского бульвара он обозревал внешний рейд и там серые силуэты двух гигантов, вроде бы тех самых; как ни старайся, из этих пушек и труб уже никогда не выбьешь память о ярости линкоров.

Свежестью и полной промытостью веяло от сентябрьского вечера, от щедрой воды вокруг, от бороздящих рейд мелких плаведиц и от подмигивающих сигналами гигантов.

В те дни все это пространство было белым, застывшим будто бы навеки и зловещим. Линкоры стояли борт к борту у стенки, покрытые льдом до самых верхних надстроек, со свалывшимся, прокопченным снегом на палубах. Никита ловил себя на том, что даже у него, лазутчика, появляется враждебное чувство к замерзшей «Маркизовой луже», как называли Финский залив военморы. По льду на крепость шли бесконечные цепи карателей в белых халатах.

Четыре с половиной года спустя, стоя у памятника Петру Великому и глядя на оживленное полновожье, комбриг РККА Градов поймал себя на другой мысли: начнись тогда мятеж на месяц позже, с ним бы не совладать. Освободившись из ледового капкана, линкоры по чистой воде подошли бы к Ораниенбауму и прямой наводкой пресекли бы все попытки концентрации правительственных сил. К «Петропавловску» и «Севастополю», безусловно, присоединились бы два других гиганта, в марте еще торчавшие в устье Невы, – «Гангут» и «Полтава», а за ними и другие корабли Балтики. Трудно было бы поручиться даже за легендарную «Аврору», ведь и весь Кронштадт еще за неделю до мятежа считался оплотом и гордостью революции.

Непобедимость восставшего Балтфлота почти наверняка подожгла бы бикфордов шнур и вызвала бы серию взрывов по всей стране. Тамбовщина и так уже пылала. Недаром Ленин считал, что Кронштадт опаснее Деникина, Колчака и Врангеля, вместе взятых. Чистая вода принесла бы гибель большевистской республике.

Нас спас лед. Исторически детерминированные события и неуправляемые физические процессы природы находятся в странной, да что там говорить, просто в возмутительной зависимости. Лед оказался нашим главным союзником и при штурме Крыма, и при подавлении Кронштадта. Не следует ли соорудить памятник льду? Экая чушь, законы классовой борьбы, выстроенные на базисе льда, на замедлении бега каких-то жалких молекул!

Однако вовсе не эти парадоксы были главной мукой комбрига Градова. Дело было в том, что он в какие-то определенные или неопределенные моменты жизни вдруг начинал видеть в себе предателя и едва ли не душителя свободы. Казалось бы, геройская миссия была возложена на пылкого двадцатилетнего революционера, в любую минуту не пожалевшего бы жизни за Красную республику, и по-геройски эта миссия была выполнена, и все-таки...

Он медленно шел вдоль желтого с белыми колоннами здания Морского собрания, прикладывая руку к козырьку, расходясь с военморами, и даже улыбался в ответ на взгляды женщин – Кронштадт всегда славился женами плавсостава, – и вспоминал, как в мартовскую пургу, во мраке, оставив на льду белый халат, сшитый из двух простынь, он поднялся на причал, перебежал бульвар и пошел вдоль этого здания, фальшивый моряк, братишечка что надо, даже свежая наколочка была сделана на груди: «Бронепоезд „Красный партизан“».

Дюжина сверхсекретных лазутчиков была отобрана самим командармом Тухачевским из числа самых беззаветных. К моменту решительного штурма, действуя в одиночку, они должны были выводить из строя орудия и открывать ворота фортов. Дорог был каждый час, над заливом уже начинали гулять влажные западные ветры.

В ту ночь он беспрепятственно дошел до явочной квартиры, а утром... вот утром-то и начались его муки.

Он проснулся от звуков оркестра. По залитой солнцем улице к Якорной площади маршировала колонна моряков; веселые ряшки. Над ними в ярчайшем голубом послештормовом небе рябил наспех сделанный транспарант, вполне отчетливо предлагавший сокрушительный мартовский лозунг:

«ДОЛОЙ КОМИССАРОДЕРЖАВИЕ!»

Знаки восстания были повсюду. Первое, что увидел Никита, когда вышел на улицу, имея в котомке два маузера, четыре гранаты и фальшивый мандат Севастопольского флота, были расклеенные на стене листки «Известий Кронштадтского совета» с призывами революционной информации об отражении атак и о выдаче продовольствия, а также с издевательскими частушками в адрес вождей.

...Приезжает сам Калинин,
Язычище мягок, длинен,
Он малиновкою пел,
Но успеха не имел.
Опасаясь грозных кар,
Удирает комиссар!
Беспокоен и угрюм
Троцкий шлет ультиматум:
«Прекратите беспорядок,
А не то, как куропаток,
Собрав верную мне рать,

Прикажу перестрелять!..»
Но ребята смелы, стойки,
Комитет избрали, тройки,
Нога на ногу сидят
И палят себе, палят!..

Эти «ребята» отрядами, поодиночке, толпами продолжали стекаться на Якорную, формируя у подножия Морского собора и вокруг памятника адмиралу Макарову огромную толпу черных бескозырок и голубых воротников. Редкими вкраплениями в балтийскую униформу выделялись солдатские шинели и овчинные полушубки. Сновали мальчишки, иной раз мелькали и возбужденные лица женщин. Все вместе это называлось «Кронштадтская команда».

Играло несколько оркестров. Они перекрывали постоянно возобновляющуюся канонаду с залива. Что касается большевистских аэропланов, то в общем гаме, пороховом и медном громе их моторы были вообще не слышны, а сами они казались каким-то ярмарочным аттракционом, хоть и слетали с них порой смертоносные пакеты и листовки с угрозами «красного фельдмаршала» Троцкого.

Настроение было праздничным. Никита не верил своим глазам. Вместо зловещих ожесточенных заговорщиков, ведомых вылезшими из подполья белогвардейцами, он видел перед собой что-то вроде народного гульбища, многие тысячи, охваченные вдохновением.

Странное место. Византийская громада собора, монумент человеку в простом пальто. «Амурские волны» и взрывы. Игрушечные аппараты в небе, окруженные ватными клочками шрапнельного огня. Фаталистическая игра или – вспомни отца Иоанна! – новая соборность, исповедь бунта?

С трибуны долетали крики ораторов:

- ...Товарищи, мы обратились по радио ко всему миру!..
- ...Большевики врут про французское золото!..
- ...Советы без извергов!..

Едва ли не каждая фраза покрывалась громовым «ура».

- ...Слово имеет предревкома товарищ Петриченко!..

Из черных шинелей на трибуне выдвинулась грудь, обтянутая полосатой тельняшкой. Простуды не боится. Из маузера отсюда не достанешь. Может быть, кто-то из наших, из одиннадцати, сейчас целится?

– Товарищи, ставлю на голосование вторую резолюцию линкоров! Ультиматум Троцкого отклонить! Сражаться до победы!..

Потрясенный Никита смотрел вокруг на ревущие единым духом глотки. Победа! Победа! Потом спохватился, стал и сам размахивать шапкой и кричать: «Победа». Кто-то хлопнул его по спине. Усатый бывалый военмор с удовольствием заглянул в его молодое лицо.

- Поднимем Россию, браток?!

«Ура», – еще пуще завопил Никита и вдруг похолодел, почувствовав, что кричит искренне, что втянут в воронку массового энтузиазма, что именно здесь вдруг впервые нашел то, что так смутно искал все эти годы со штурма «Метрополя» в 1917 году, когда семнадцатилетним мальчиком присоединился к отряду Фрунзе, – порыв и приобщение к порыву.

Да ведь предатели же, мерзавцы, под угрозу поставили саму Революцию ради своего флотского высокомерия, избалованности, анархизма, всего этого махновского «Эх, яблочко, куды т-ты котисся»! Какие еще могут быть порывы и сантименты в отношении этого сброда?!

Открылись двери собора, на паперть вышел священник с крестом, стали выносить гробы с погибшими при отражении вчерашнего штурма. Оркестры заиграли «Марсельезу». Моряки обнажили головы. Лазутчик Градов тоже снял шапку. Момент всеобщей скорби, мороз по коже, дрожь всех мышц – вот, очевидно, предел всей этой вакханалии, четыре года злодейств

во имя борьбы со злодейством, набухание слезных желез... Да ведь это вокруг тебя Новгородское вече, свободная Русь, и ты ударишь им в спину!..

...После того как все было кончено, Никита, в числе трех уцелевших из дюжины отряда особого назначения, был награжден золотыми часами швейцарской фирмы «Лонжин». Затем его госпитализировали. Несколько дней он метался в бреду и беспамятстве, лишь на мгновения выныривая к обледелым веточкам и снегирям за окном Ораниенбаумского дворца.

Никто никогда не говорил ему ни о характере, ни о подробностях той горячки. Он просто выздоровел и вернулся в строй. Кронштадтской темы предпочитали не касаться в военных и партийных кругах, хотя и ходили смутные слухи, что у самого Ленина на этой почве разыгралась форменная истерика. Якобы визжал и хохотал вождь: «Рабочих расстреливали, товарищи! Рабочих и крестьян!»

Никто, разумеется, не говорил в «кругах» и о том, что именно Кронштадт вывел страну из сыпняка военного коммунизма, повернул ее к нэпу – отогреться. Не случись эта страшная передышка, не отказались бы вожди «всерьез и надолго» от своих теорий.

Вероника, дочь известного московского адвоката, была женой Никиты уже третий год, и, конечно же, она знала немало об этой тайной ране своего мужа, хотя и понимала, что знает не все. В последние две недели, после командировки, она стала серьезно опасаться за состояние его нервов. Он почти не спал, ходил по ночам, без остановки курил, а когда отключался в каком-то подобии сна, начинал бормотать заумь, из которой иногда выплывали, будто призраки, фразы, выкрики и печатные строчки кронштадтской вольницы.

«...от Завгородина – двухдневный паек хлеба и пачка махорки; от Иванова, кочегара „Севастополя“, – шинель; от сотрудницы Ревкома Циммерман – папиросы, от Путилина, портово-химическая лаборатория, – одна пара сапог...»

«...Полное доверие командиру батареи товарищу Грибанову!...»

«...Куполов, ебена мать, Куполова-лекаря не видали, братцы?...»

«...команда пришла в задумчивость, нужна литература для обмена с курсантами...»

«...Подымайся, люд крестьянский!»

Всходит новая заря —

Сбросим Троцкого оковы,

Сбросим Ленина-царя...»

«...Ко всем трудящимся России, ко всем трудящимся России...»

Однажды она, набравшись смелости, спросила его, не стоит ли ему выйти из армии и поступить в университет, на медицинский факультет, по стопам отца, ведь ему всего двадцать пять, к тридцати годам он будет настоящим врачом... Как ни странно, он не накричал на нее, а только лишь задумчиво покачал головой – поздно, Ника, поздно... Похоже, что он вовсе не возраст имел в виду.

Наконец они подошли к калитке дачи, на которой, как в старые времена, только без ятей, красовалась медная таблица с гравировкой «Доктор Б. Н. Градов». За калиткой мощенная кирпичом дорожка, описывая между сосен латинскую «S», подходила к крыльцу, к добротному обитым клеенкой дверям, к большому двухэтажному дому с мансардой, террасой и флигелем.

Переступая порог этого дома, всякий подумал бы: вот остров здравого смысла, порядочности, суший оплот светлых сил российской интеллигенции. Градов-старший, Борис Никитич, профессор Первого медицинского института и старший консультант Солдатёнковской больницы, считался одним из лучших хирургов Москвы. С такими специалистами даже творцы истории вынуждены были считаться. Партия знала, что, хотя ее вожди сравнительно молоды, здоровье многих из них подорвано подпольной работой, арестами, ссылками, ранениями, а потому светилам медицины всегда выказывалось особое уважение. Даже и в годы военного

коммунизма среди частично разобранных на дрова дач Серебряного Бора градовский дом всегда поддерживал свой очаг и свет в окнах, ну а теперь-то, среди нэповского процветания, все вообще как бы вернулось на круги своя, к «допещерному», как выражался друг дома Леонид Валентинович Пулково, периоду истории. Постоянно, например, звучал рояль. Хозяйка, Мэри Вахтанговна, когда-то кончавшая консерваторию по классу фортепиано («увы, моими главными концертами оказались Никитка, Кирилка и Нинка»), не упускала ни единой возможности погрузиться в музыку. «Шопеном Мэри отгоняет леших», – шутил профессор.

Разгуливал по коврам огромный и благожелательнейший немецкий овчар Пифагор. Из библиотеки обычно доносились мужские голоса – вековечный «спор славян». Няня, сыгравшая весьма немалую роль в трех «главных концертах» Мэри Вахтанговны, проходила по комнатам со стопками чистого белья или рассчитывалась в прихожей за принесенные на дом молоко и сметану.

Никита повесил на оленьи рога шубку Вероники и свою шинель, что весила, пожалуй, в пять раз тяжелее собрания котиков. Он постарался тихо, чтобы не сорвать Шопена, пройти за женой на мансарду, однако мать услышала и крикнула своим на редкость молодым голосом:

– Никитушка, Никушка, учтите, сегодня за ужином полный сбор!

На мансарде, из окна которой видна была излучина Москвы-реки и купола в Хорошеве и на Соколе, он стал раздевать жену. Он целовал ее плечи, нежность и сладостная тяга, казалось, вытесняли мрак Кронштадта. Как все-таки замечательно, что женщины снова могут покупать шелковое белье. Что ж, может быть, Вуйнович прав, говоря, что в подавлении «братвы» начала возрождаться российская государственность?

Глава II

Кремль и окрестности

Вокруг Кремля всегда вилоьсь не меньше шепотков и кривотолков, чем ласточек вокруг его башен в погожий летний день. Что уж и говорить про нынешние времена, когда в крепости восьмой год сидят вожди мирового пролетариата. Парадоксы на каждом шагу. Взять хотя бы ту же Спасскую башню. Хоть она и носит еще имя Спаса, но стала уже символом чего-то другого. Двуглавый орел еще венчает ее шатер, но куранты в полдень вызванивают «Интернационал», а в полночь – «Вы жертвою пали».

В городе ходит молва, что под Кремлем с неизвестными целями расширяется паутина тайников-колодцев и подземных ходов-слухов. Станные рассказы циркулируют о жизни семейств Каменевых и Сталиных, о придворном большевистском пиите, поселившемся дверь в дверь с вождями в здании бывшего Арсенала, – Демьяне Бедном, которого, каламбура вокруг его настоящей фамилии, столичные литераторы называют Демьян Лакеевич Придворов.

Странности и жути еще прибавилось, когда главного обитателя после его кончины забальзамировали и вынесли за крепостную стену в хрустальном гробу всем на обозрение. Что за извивы воображения и как их совместить с материалистической философией, с тем же Энгельсом, что завещал свой прах развеять над океаном?

Великие соборы Кремля закрыты, но купола их и кресты все еще пылают, стоит лишь солнышку пробиться сквозь среднерусскую хмарь, переливаются в соседстве с множественными красными струями новых знамен и паучковыми символами перекрещенных орудий труда.

Гордая итальянская крепость на вершине Боровицкого холма, трижды сожженная с интервалами в двести лет ханом Тохтамышем, гетманом Гонсевским и императором Наполеоном и снова поднявшая свои шатры и «ласточкины хвосты» стен, что тебя ждет в непредсказуемом мире?

Три «роллс-ройса» наркомата обороны поначалу пересекли Красную площадь как бы по направлению к воротам Спасской башни, однако неожиданно проехали мимо, спустились к Москве-реке, обогнули крепость с южной и западной сторон и вкатились внутрь через предмостную пузатую Кутафью башню. Такая тактика внезапных изменений маршрута была недавно разработана для предотвращения терактов. Тактика, прямо скажем, немудреная, построенная на вековечном «береженого Бог бережет», однако и в самом деле, окажись где-то у Спасских ворот засада (все-таки ведь немало же еще и за границей и дома вполне боеспособных антисоветчиков), Рабоче-крестьянская Красная Армия была бы одним ударом обезглавлена. В первой машине следовал нарком Фрунзе, во второй – главком-Запад Тухачевский, в третьей – главком-Восток, кавалер ордена Красного Знамени № 1 Василий Блюхер.

Фрунзе был мрачен. Фактически он направлялся на совещание вопреки решению Политбюро. Именно это обстоятельство, а не болезнь сама по себе, угнетало его. Проклятая язвато как раз в последнее время меньше давала о себе знать. Лечащие врачи обнадеживали – анализы показывают, что не исключен процесс рубцевания, то есть своего рода самозаживания. Однако вот эта тягостная и все нарастающая забота товарищей... конечно, можно понять многих из них, прошлогодняя трагедия, кончина Ильича, так потрясла партию, однако нет ли здесь перестраховки и... если называть вещи своими именами, не ведут ли некоторые какой-то странной двойной игры?..

Фрунзе не любил повышать голоса (пуще всего боялся превратиться из красного командира, сознательного революционера в старорежимного деспота и солдафона). Но он очень здорово умел прибавлять к голосу нечто такое, что сразу давало понять окружающим – возраже-

ния излишни. Вот именно с этими модуляциями он приказал сегодня утром подать в палату полный комплект одежды и, одевшись, немедленно отправился в наркомат, а оттуда в Кремль.

По дороге, в машине, он ни с кем не разговаривал, даже на верного Вуйновича старался не смотреть. Странные все-таки складываются нравы среди руководства. Взять отдельно некоторых людей; по мере удаления от горячки Гражданской войны, то есть по мере взросления, если еще не старения, сколько выявляется малопривлекательных качеств: вздорность Зиновьева, зловещая непроницаемость Сталина, наплевизм Бухарина, никчемность Клина, сутяжничество Уншлихта – каждому по отдельности ты знаешь цену, но собранные вместе они превращаются в высшее понятие – «воля Партии». Парадокс в том, что без этого мы не можем, Ленин это понимал, мы развалимся без этого мистицизма.

Мысль о том, что ему пришлось сегодня переступить через «высшее понятие», пусть в интересах дела, в интересах самой республики, но совершить самоуправство, не давала покоя Фрунзе. У него, что называется, сосало под ложечкой, а когда «роллс-ройс» стал покачиваться на торцах Красной площади, показалось даже, что эта легкая качка отдается в животе. Он приложил перчатку ко лбу.

Курсанты школы ВЦИКа, несущие внутреннюю службу в правительственных помещениях, стояли по стойке «смирно». На их лицах, где по идее не должно было быть написано ничего, читалось преклонение. Три легендарных командарма в сопровождении своих чуть приотставших помощников (по-старому адъютантов) проходили по лестницам и коридорам Кремлевского дворца; это ли не запоминающееся на всю жизнь событие? Шаги их были крепки, и все они представляли идеал мужества и молодой зрелости. И впрямь: старшему, Фрунзе, было к тому моменту всего лишь сорок, Блюхеру – тридцать пять, а Тухачевскому – тридцать два года. Существовала ли когда-нибудь на Земле другая армия с таким молодым и в то же время преисполненным колоссальным боевым опытом командным составом?

Последняя пара курсантов, несущая караул у святая святых, открыла двери. Командармы вошли в зал заседаний – большие окна, лепной потолок, хрустальная люстра, огромный овальный стол. Иные участники заседания еще прогуливались по упругому ковру бухарской работы, обменивались шутками, другие уже сидели за столом, углубившись в бумаги. Все они были, что называется, мужчины в полном соку, если пятидесяти, то с небольшим, все в хорошем настроении: дела у республики шли как нельзя лучше. Одеты либо в добротные деловые тройки, либо в полувоенную партийную униформу (френч с большими карманами, галифе, сапоги), они обращались друг к другу в духе давно установившегося в партии чуть грубоватого, но как бы любовного и мягко-иронического товарищества.

Посторонний внимательный наблюдатель, вроде промелькнувшего в нашем прологе профессора Устрялова, может быть, и заметил бы уже начинавшееся расслоение и появление того, что впоследствии было названо «партийной этикой», согласно которой кто-то кого-то мог назвать «Николаем» или «Григорием», а другой обязан был подчеркивать свое расстояние от всемогущего бонзы, употребляя отчество или даже официальное «товарищ имярек», однако нам пока что соблазнительно подчеркнуть, что все на «ты» и все свои.

«Сменовеховцы», а они, как все русские интеллигенты, любили подстегивать факты к сочиненным загодя теориям, постарались бы, очевидно, отыскать в этой группе вождей приметы своей излюбленной «ауры власти», и они, вероятно, легко обнаружили бы эти приметы в таких, скажем, пустяках, как некоторое прибавление телес, добротности одежд и непринужденности движений, запечатленная государственность в складках лиц; мы же, со своей стороны, можем все эти приметы отнести и к другим причинам, менее метафизического толка, а по поводу складок на лицах можем, хоть и не без содрогания, подвесить вопросец такого толка: не ползут ли по ним проказой совсем еще недавние неограниченные насилие и жестокость?

Когда военные вошли в зал, все к ним обернулись. «Как, Михаил, это ты?!. Вот так сюрприз!» – с дешевой театральностью воскликнул Ворошилов, хотя всем давно уже было известно, что Фрунзе уехал из госпиталя и направляется в Кремль. Несколько человек переглянулись; фальшивый возглас Клима как бы подчеркнул страннейшую и в некоторой степени как бы непоправимую двусмысленность, накапливающуюся вокруг наркомвоенмора. Председатель СНК Рыков предложил занять места. Рассаживаясь, члены Политбюро и приглашенные продолжали обмениваться репликами и заглядывать в бумаги, всячески стараясь подчеркнуть, что основное их внимание приковано не к Фрунзе, то есть не к нему персонально, не к нему как к больному человеку. Те, кто пожал ему руку при входе, старались не придавать значения своему наблюдению, что рука при обычной ее крепости была чрезвычайно влажна, а те, кто как бы случайно касался взглядом лица командарма, отгоняли мысль, что ищут в нем признаки ишемии.

Между тем с Фрунзе под всеми этими взглядами и в самом деле творилось что-то неладное. Боясь оскандалиться, он попытался под прикрытием папки с бумагами достать из кармана и проглотить очередную таблетку, но отказался от этой мысли и, повернувшись к Шкирятову, спросил:

– Где же Сталин?

Шкирятов – Бог шельму и именем метит – весь подался вперед, весь к Фрунзе, глаза его будто пытались влезть поглубже в командарма, на широком лице отразилась исключительная фальшь, что сделало еще заметней его природную асимметрию.

– Товарищ Сталин просил его извинить. Он как раз заканчивает прием кантонской делегации.

Фрунзе почувствовал боль, напомнившую ему сентябрьский приступ в Крыму. Боль была незначительная, но страх, что за ней последует другая, более сильная, и что он оскандалится перед Политбюро, больше того – тут вдруг впервые как бы выкристаллизовалось, – даст увезти себя «под нож», этот страх будто выбил пол у него из-под ног; геометричность мира стремительно расплывалась. Он еще попытался ухватиться за политически мотивированное недоумение.

– Странно. Кажется, Уншлихт уже обсудил все вопросы с генералиссимусом Ху Хань Минем...

Шкирятов быстро подвинул ему стакан воды:

– Что с тобой, Михаил Васильевич?

Фрунзе уже не заметил знака, поданного Рыковым другим участникам совещания: дескать, оставьте его в покое; не очень отчетливо он осознал, что по заранее утвержденной повестке дня первым стал говорить Тухачевский.

На повестке дня было детище Фрунзе – военная реформа, то, чем он гордился больше, чем штурмом Перекопа. Согласно этой реформе РККА хоть и сокращалась на 560 тысяч войск, но становилась дважды мощнее и трижды профессиональнее. Вводилось смешанное кадровое и территориальное управление, принимался закон об обязательной военной службе, а также устанавливалось долгожданное единоначалие, то есть отодвигались в сторону политкомиссары, эти постоянные источники демагогии и неразберихи. Военная реформа окончательно устраняла партизанщину, закладывала основу несокрушимости боевых сил СССР.

Голова Фрунзе упала на стол, произведя странный неодушевленный звук, заставивший вздрогнуть весь могущественный совет. Он тут же встал и попытался выйти, однако на полпути к дверям, прижав платок ко рту, закачался. Платок окрасился кровью, и наркомвоенмор осел на ковер.

Курсанты охраны, явно еще не вполне обученные, как поступать в таких обстоятельствах, заметались по залу, кто к телу, кто к окну, кто к телефону, но тут же, то есть почти немедленно, появился отряд санитаров с носилками. Трудно сказать, были ли эти носилки составной

частью «медицинского обеспечения» заседаний Политбюро, или их туда доставили специально к этому дню.

В создавшейся панике даже и посторонний внимательный наблюдатель мог бы растеряться и не заметить более чем странных взглядов, которыми обменивались некоторые участники совещания. Впрочем, его бы вскоре привел в себя трагический возглас Ворошилова:

– Крым не помог Михаилу!

Тогда среди возникшего вокруг лежащего тела сугубо сценического движения (любой двор, особенно в период междуцарствия, напоминает театр, и Кремль не был исключением) наблюдатель услышал бы ядовитый шепоток Зиновьева:

– Зато он помог Иосифу...

Трудно сказать, услышали ли эту фразу все присутствующие, несомненно, однако, что до самого Сталина она дошла. Он появился незаметно, выйдя из маленькой, сливающейся со стеной дверцы, и беззвучно прошел через зал в своих мягких кавказских сапожках. Обойдя вокруг стола и особенным образом обогнув Зиновьева – у последнего в этот момент возникло ощущение, что мимо проходит кот-камышатник, – Сталин приблизился к носилкам.

В этот момент Фрунзе делали инъекцию камфоры. Он очнулся от обморока и тихо простонал: «Это нервы, нервы...» Носилки подняли. Сталин на прощание притронулся ладонью к плечу наркома.

– Нужно привлечь лучших медиков, – произнес Сталин. – Бурденко, Рагозина, Градова... Партия не может себе позволить потерю такого сына.

Лев прав, думал Зиновьев, этот человек произносит только те фразы, которые хотя бы на миллиметр поднимают его выше нас всех.

Сталин прошел к столу и сел на свое место, и это место, одно из многих, почему-то вдруг оказалось центром овального стола. То ли, опять же по законам драмы, как на появившегося в поворотный момент, то ли по другим причинам, однако именно на Сталина смотрели оцепеневшие члены Политбюро и правительства. Было очевидно, что при всех двусмысленных толках вокруг болезни Фрунзе крушение могучего полководца внесло под своды Кремля мотив рока и мглы; как будто валькирии пролетели.

Сталин минуту или две смотрел в окно на проходящие по октябрьскому небу безучастные облака, потом произнес:

– Но дерево жизни вечно зеленеет...

Товарищи с солидным стажем эмиграции вспомнили, что эту строчку из «Фауста» любил повторять и незабвенный Ильич.

– Давайте продолжим.

Мягким жестом Сталин предложил вернуться к повестке дня.

Под вечер того же дня многочисленные гости съезжались на дачу профессора Градова в Серебряном Бору. Готовился русско-грузинский пир в честь сорокалетия хозяйки Мэри Вахтанговны.

Из Тифлиса приехали старший брат виновницы торжества Галактион Вахтангович Гудиашвили и два племянника, сыновья сестры, Отари и Нугзар.

Никто, разумеется, не сомневался, что тамадой за праздничным столом будет Галактион. Крупный роскошный кавказец всегда полагал пиры гораздо более существенной частью жизни, чем свою работу весьма почитаемого у горы царя Давида фармацевта. Грозы революции, крушение недолговечной грузинской независимости, даже прошлогодний мятеж, свирепо подавленный чекистами Блюмкина, не отразились ни на внешности, ни на мироощущении этого «средиземноморского человека», каждое появление которого, казалось бы, обещало начало итальянской оперы или по крайней мере добрый флакон «любовного напитка».

Ну уж, конечно, не с пустыми руками прибыл в Серебряный Бор дядюшка Галактион. Для того, между прочим, и племянников взял, «бэздэлников», чтобы помогли транспортировать к праздничному столу три бочонка вина из заповедных подвалов Кларети, полдюжины копченых поросят, три оплетенных четверти душистой и свежей, как «поцелуй ребенка» («это Лермонтов, моя дорогая»), чачи, мешок смешанных орехов, мешок инжира, две корзины с отборными аджарскими мандаринами, корзину румяных груш, похожих на груди юных гречанок («без этих груш как мог я появиться пэрэд сэстрою?»), горшок сациви размером с древнюю амфору, два ведра лобio, ну и некоторые приправы – аджика, ткемали, шашмика, шмекали; в общем, разные мелочи.

Немедленно по прибытии дядя Галактион отправился инспектировать приготовления к пиру и был весьма впечатлен запасами хозяев: тут были и водки, и коньяки, всевозможные заливные закуски, а также совсем было уж забытые, но появившиеся вновь в «угаре нэпа» такие деликатесы, как анчоусы и сельди «залом», радующий душу развал грибочков, огурчиков и помидорчиков, сыры нескольких видов – от целомудренного форпоста Голландии до растленного рокфора, а также сам вельможный осетр. В духовке томилось, ко всеобщему удовольствию, седло барашка.

– Мэри, любимая, поздравляю сестру! Вот это нэп, милостивые государи! Лучшая новая экономическая политика – это старая экономическая политика, а лучшая политика – это к чертовой матери всякая политика! – так возгласил тифлисский Фальстаф.

Большинство собравшихся уже гостей рассмеялось, а молодой поэт Калистратов, который все интересовался, где же младшая дочка Градовых Нина, прочел из Маяковского:

Спросили раз меня:
«Вы любите ли нэп?» —
«Люблю, — ответил я, —
Когда он не нелеп...»

Не все, впрочем, были в безмятежном настроении в этот вечер. Средний сын Градовых Кирилл, только весной окончивший университет историк-марксист, сердито передернул плечами при политически бестактной шутке своего дяди.

– Терпеть не могу все эти ухмылочки и рифмовочки вокруг нэпа, – сказал он Калистратову. – Им все кажется, что это наш конец, а ведь это только лишь «надолго», но не навсегда!

– На мой век, надеюсь, хватит, – вздохнул беспутный Калистратов и, не тратя времени, устремился к буфету.

Кирилл, прямой, бледный и серьезный, в убогой косоворотке, похожий на прежних фанатиков подполья, выделялся среди нарядных гостей. Если бы не боялся он обидеть мать, давно бы ушел в свою комнату и засел за книги. Чертов нэп, все «бывшие» закукарекали, эмиграция следит с придыханием, решили, что и впрямь можно повернуть историю вспять. Ну хорошо, с дяди Галактиона много не спросишь, отец вообще живет так, будто политика не существует, типичный вариант «спеца», мама вся в своих шопенах, молится украдкой, все еще обожает символистов, «ветер принес издалека песни весенней намек», однако и наше ведь поколение чем-то уже тронута тлетворным, даже брат, красный комбриг, о Веронике уж и говорить нечего...

Возмущение юного пуританина можно было легко понять при взгляде на его родителей. Они не вписывались в революционную эстетику в той же степени, в какой их хлебосольный московский стол не совпадал с преysкурантом какой-нибудь советской фабрики-кухни. Красавица Мэри в длинном шелковом платье с глубоким вырезом, с ниткой жемчуга на шее, пышные волосы подняты вверх и завязаны античным узлом. Под стать ей и сам профессор, пятидесятилетний Борис Никитич Градов, совсем не отяжелевший еще мужчина в хорошо сшитом

и ловко сидящем костюме и с аккуратно подстриженной бородкой, которая хоть и не вполне гармонировала с современным галстуком, была, однако, необходима для продолжения галереи великих российских врачей. В праздничный вечер оба они выглядели по крайней мере на десять лет моложе своего возраста, и всем было ясно, что они полны друг к другу нежности и привязанности в лучших традициях недобитой русской интеллигенции.

Гости Градовых в основном тоже принадлежали к этому племени, ныне объявленному «прослойкой» на манер пастилы между двумя кусками ковриги. В начале вечера все они с очевидным удовольствием толпились вокруг друга дома ученого-физика Леонида Валентиновича Пулково, только что вернувшегося из научной командировки в Англию. Ну, посмотрите на Леонида, ну, суций англичанин, ну, просто Шерлок Холмс.

Ан нет, настоящим англичанином вечера вскоре был объявлен другой гость, писатель Михаил Афанасьевич Булгаков; у того даже монокль был в глазу! Впрочем, Вероника, помогавшая свекрови принимать гостей, не раз ловила на себе не очень-то английские, то есть не ахти какие сдержанные, взгляды знаменитого литератора.

– Послушайте, Верочка, – обратилась к ней Мэри Вахтанговна. Вот, пожалуй, только в этом обращении и проявлялись традиционные семейные банальности, трения между свекровью и невесткой: последняя всех просила называть ее Никой, а первая все как бы забывалась и звала ее Верой. – Послушай, душка... – Тоже, прямо скажем, обращеньице, из какого тифлисского салона к нам пожаловало? – Где же твой муж, моя дорогая? – Вероника пожалела великолепными плечами, да так, что Михаил Афанасьевич Булгаков просто сказал «о» и отвернулся.

– Не знаю, тапан. – Ей казалось, что этим «тапан» она парирует Верочку, но Мэри Вахтанговна, похоже, не замечала в таком адресе ничего особенного. – Утром он сопровождал главкома в Кремль, но должен был бы уж вернуться три часа назад...

«Хорошо бы вообще не вернулся», – подумал проходящий мимо с бокалом вина Булгаков.

– Пью за здоровье Мэри, милой Мэри моей! Тихо запер я двери и один без гостей пью за здоровье Мэри! – возгласил какой-то краснобай.

Начались стихийные тосты. Дядя Галактион стал шумно протестовать, говоря, что тостам еще не пришел черед, что произнесение тостов – это высокая культура, что русским с их варварскими наклонностями следует поучиться у более древних цивилизаций, делавших утонченные вина уже в те времена, когда скифы только лишь научились жевать дикую коноплю.

В общем, началось было шумное хаотическое веселье, именно такое состояние, которое и позволяет потом сказать «вечер удался», когда вдруг за окнами взорвалась шутиха, другая, забил барабан и послышались молодые голоса, скандирующие какую-то «синеблужную» чушь вроде: «Революции семь лет! Отрицаем мир котлет! Революция пылает, власть семьи уничтожает!» Это и были «синеблужники», последнее увлечение младшей Градовой, восемнадцатилетней Нины.

Гости высыпали на крыльцо и на террасу, чтобы посмотреть представление маленькой группы из шести человек. «Начинаем спектакль-буфф под названием „Семейная революция“!» – объявила заводила и тут же прошла колесом. Заводилой как раз и была Нина, унаследовавшая от матери темную густую гриву, в данный период безжалостно подрубленную на пролетарский манер, а от отца – светлые, исполненные живого позитивизма глаза и взявшая от остального мира, столь восхищавшего всю ее юную суть, такую сильную дозу юного восхищения, что она сама порой казалась не каким-то отдельным имярек существом, а просто частью этого юного восхитительного мира в ряду искрящихся за соснами звезд, стихов Пастернака и башни Третьего Интернационала. Искрометному этому существу предстоит сыграть столь существенную роль в нашем повествовании, что нам, право, не доставляет никакого удовольствия сообщение о том, что акробатическая фигура, с которой она появляется на этих страни-

цах, завершилась довольно неудачно – падением, и даже несколько нелепым приземлением на пару ягодичек, к счастью достаточно упругих.

Вообще весь «буфф» оказался каким-то чертовски нелепым и почти халтурным, если к этому еще не добавить его бестактность.

Здоровенная орясина, пролетарский друг профессорской дочки Семен Стройло, накинув на свою юнгштурмовку какую-то несуразную лиловую мантию, а башку вбив в маловатый цилиндр, деревянным голосом зачитал:

Я профессор-ретроград,
У меня большой оклад.
На виду у всей страны
Я тиран своей жены.

Остальные участники труппы построили за его спиной довольно шаткую пирамиду и стали выкрикивать:

- По примеру Коллонтай ты жене свободу дай!
- Наша Мэри бунту рада, поднимает баррикаду!
- Обнажив черты чела, говорит: «Долой обузу!
- Я свободная пчела! Удаляюсь к профсоюзу!..»

Каждый восклицательный знак, казалось, вызывал все новые опаснейшие колебания, и гости следили не за дурацким текстом, а за столь шатким равновесием. В конце концов пирамида все-таки рухнула. Никто, к счастью, не пострадал, но возникла ужасная неловкость, возможно, даже и не от бездарности зрелища, а от подспудного ощущения фальшивости этого «бунтарства»: так или иначе, но «синие блузы» были на стороне правящей идеологии, а собравшиеся у Градовых либеральные «буржуа» всегда полагали себя в оппозиции.

- К столу, господа! К столу, товарищи! – закричал дядя Галактион.

Вдохновленные этим призывом Отари и Нугзар запели что-то грузинское и закружились в лезгинке вокруг Нины.

Провал «Семейной революции» подействовал на Нину, видимо, не менее сильно, чем на ее тезку Заречную – провал сочинения Треплева внутри сочинения Чехова. Нина, впрочем, не была еще так сильно огорчена превратностями жизни, как ее тезка, и поэтому, быстро забыв о пролетарской эстетике, нырнула к своим древним истокам, то есть встала на цыпочки и пошла мимо кузенов грузинской павой.

- Это, кажется, твое лучшее произведение, – сказал о ней ее отцу физик Пулково.

В суматохе рассаживания вокруг огромного стола два старых друга отошли к окну, за которым сквозь сосны просвечивало светлеющее над близкой Москвой небо.

- Ну, как тебе это все после Англии? – спросил Борис Никитич.

Леонид Валентинович пожал плечами:

– Я уже неделю дома, Бо, и мне уже Оксфорд кажется странностью. Как они там могут без всех этих наших... хм... ну, словом, без этого возбуждения?..

– Скажи, Леня, а тебе не хотелось остаться? Ведь ты холостяк; якорей, так сказать, у тебя здесь нет, а научные возможности там несравненно выше...

Пулково усмехнулся и хлопнул Градова по плечу:

– Вот что значит хирург, сразу находит болевую точку! Знаешь, Бо, Резерфорд предлагал мне место в своей лаборатории, но... знаешь, Бо, видимо, все-таки у меня тут есть какие-то якоря...

Увлеченные разговором, они не сразу заметили, что в гостиной произошло нечто непредвиденное, возник какой-то диссонанс в праздничной многоголосице. Два командира в полной форме вошли в дом и теперь оглядывались, не снимая шинелей; это были Никита и Вадим.

– Ба! – воскликнул наконец Пулково. – Каков Никита! Комбриг?! Немыслимо! Теперь все твои чада в сборе, Бо! Доволен ты своими ребятами?

– Как тебе сказать. – Борис Никитич уже понял, что случилось нечто важное, и теперь следил за сыном. – Ребята у нас хорошие, но... хм, как-то они, понимаешь ли, слишком увлеклись... хм... ну, другим делом... никто не продолжил семейную традицию...

Никита наконец увидел отца и пошел к нему через гостиную, деликатно освобождаясь от повисшей на левом плече сестры, мягко отодвигая трусящую с вопросами по правую руку Веронику, вежливо, но неуклонно прокладывая путь среди гостей. По пятам за ним двигался серьезный и суровый – ни одного взгляда на Веронику – Вадим Вуйнович. Тревогой веяло от этих двух фигур в форме победоносной РККА, хотя они и демонстрировали вполне безупречные манеры. Тому виной, возможно, был внесенный ими в беспечность праздника запах слишком большого пространства, смесь промозглой осени, бензина, каких-то обширных помещений, манежей ли, казарм, осенних ли госпиталей.

– Рад вас видеть, Леонид Валентинович, с приездом, с приездом, однако у меня неотложное дело к отцу.

С этими словами Никита взял под руку Бориса Никитича и уверенно, будто старший, провел его в кабинет. Вуйнович, продолжая следовать, лишь на мгновение остановился, чтобы расстегнуть крючки на воротнике шинели. Это мгновение осталось в его памяти на всю жизнь – быть может, самый жаркий миг молодости, шепот Вероники: «Что с вами, Вадим?..»

– Происходят очень важные события, отец. У наркома обострение язвы. Ему стало плохо на совещании в Кремле. Политбюро настаивает на операции. Мнения врачей разделились. Тебя просят принять участие в консилиуме. Сталин лично назвал твоё имя. Возможно, твоё мнение будет решающим. Прости, что так получилось, но мама, конечно, поймет. Комполка Вуйнович отвезет тебя в твою больницу и привезет обратно.

Никита говорил отрывисто, будто вытягивал бумажную ленту из телеграфного аппарата. Уже собираясь, профессор вдруг подумал о том, как все эти события ограбили его сына и его самого: исчезла, так и не появившись, ранняя молодость его первенца, все те очаровательные дурачества, что предвкушаются в семье, а потом с серьезностью, как важные мировые происшествия, обсуждаются. Из отрочества он сразу шагнул в эти проклятые события, и больше с ним нельзя уже было говорить иначе, как всерьез.

– Но ты, надеюсь, останешься с матерью?

– Да-да.

Никто из гостей – а уж тем более виновница торжества – не удивился неожиданному отъезду хозяина в сопровождении «красавца-офицера». Выдающегося хирурга нередко вызывали в самые неподходящие моменты. Только шепотки поползли – кто там гикнулся наверху, но вскоре и они были вытеснены мощным ароматом жаренного со специями барашка.

– На рентгеновских снимках, господа, то есть, простите, тов... словом, уважаемые коллеги, мы, конечно, видим отчетливый «эффект ниши» в стенке дуоденум, однако есть основание предполагать, что мы здесь имеем дело с интенсивным процессом рубцевания, если не вообще с зажившей язвой. Что до кровотечений последнего времени, то они, мне кажется, были следствием поверхностных изъязвлений стенки желудка, результатом застарелого воспалительного процесса. Именно такое впечатление у меня сложилось при пальпации, а я своим пальцам, гос... простите, коллеги, верю больше, чем лучам Рентгена, – старый профессор Ланг закашлялся, не закончив фразу, а потом сердито все-таки ее закончил, сказав: —...господа и товарищи!

Большой кабинет в административном здании Солдатёнковской больницы был полон. Председательствовал, во всяком случае сидел в центре возле рентгеновских снимков, главный врач Военного госпиталя Рагозин. Считалось, что он лучше всех знал высокопоставленного

больного, так как курировал его в течение последних нескольких месяцев и сопровождал во время недавней поездки в Крым. В этом собрании, впрочем, играть главную скрипку даже и Рагозину было затруднительно: не менее дюжины светил первой величины – Греков, Мартынов, Плетнев, Бурденко, Обросов, Ланг, только что подъехал Градов, ожидался знаменитый казанский профессор Вишневский...

Присутствовали на консилиуме и несколько лиц, хоть и облаченных в белые халаты, но явно не имевших к медицине прямого отношения. Лица исключительной серьезности и внимания, они сидели в углу, внимали каждому слову, но сами молчали, одним только лишь своим присутствием давая понять, что обсуждается дело исключительной государственной важности.

«Ланг прав, – подумал Градов, принимая из рук Рагозина папку с записями врачей и результатов анализов, – здесь есть как господа, так и явные товарищи».

– Так каков же ваш вывод, Георгий Федорович? – спросил Рагозин. – Следует ли прибегнуть к радикальной операции?

Ланг почему-то заливался потом, покрывался пятнами, то и дело вынимал большой, набухший уже по краям носовой платок.

– В своей клинике, батеньки мои, я бы такие штучки лечил диетой и минеральной водичкой. Обычно больные...

– Но можем ли мы рисковать?! – вдруг оборвал его Рагозин. – Ведь это не обычный больной!

– Не прерывайте! – вдруг разозлился рыхлый Ланг и хлопнул ладонью по столу. – Для меня все больные обычные!

– Могу я осмотреть наркома? – шепотом спросил Борис Никитич доктора Очкина.

Пока они шли по коридору, за ними непрерывно следовал комполка Вуйнович. Возле дверей на лестничные клетки стояли красноармейцы. В смежной с палатой Фрунзе комнате профессор Градов заметил висящую на вешалке шинель наркомвоенмора – четыре ромба в петлицах и большая звезда на рукаве.

Между тем на даче в Серебряном Бору происходил один из парадоксов революции: крик сезона танец чарльстон восхищал буржуазный «пожилаж» и возмущал передовую молодежь.

– На хрена нам эта декадентщина, – заявил, например, Нинин друг, марьинорощинский молодчага Семен Стройло. – Эту трясучку капиталисты изобрели, чтобы рябчиков с ананасами растрясать, а пролетариату она без пользы.

– Да там как раз пролетариат-то и чарльстонит, – сказал недавний путешественник Пулково, проехавший после Оксфорда пол-Европы. – Мальчишки и девчонки из низов, да и прочие, всяк, кому не лень.

– Западная блажь, – отмахнулся Стройло здоровенной ладонью с некоторой даже вельможностью.

– А вы, друг мой, что же, «барыню» собираетесь внедрять в пролетарский быт, «камаринского»? – повернулся к спорившим вспыхнувшим моноклем Михаил Афанасьевич Булгаков, само издевательство.

– Нет, нет и нет! – горячо вступилась за друга восемнадцатилетняя Нина. – Революция создает новую эстетику, будут и новые танцы!

– Похожие на старую маршировку? – невинно спросил аспирант на кафедре ее отца Савва Китайгородский, воплощение интеллигентности и хороших манер.

– Не нужно провоцировать, – прогудел Стройло, не глядя на «спеца», но давая ясно понять именно ему, чтобы не зарывался, чтобы не очень-то пялился на Нинку, девка принадлежит победителям.

– Товарищи! Товарищи! – вскричала Нина. Ей так хотелось, чтобы все зажигались от одного огня, а не так, чтобы каждый тлел по-своему. – Ну подумашь, чарльстон! Такая ерунда!

Ну что нам это, с наших-то высот! Мы можем быть снисходительными! Мы можем даже танцевать его, ну, как пародию, что ли!

Рывком повернувшись – все движения обрывистые, угловатые, ЛЕФ, новая эстетика, – накрутила патефон, пустила заново пластинку, «Mamma, buy me a yellow bonnet», схватила Степу Калистратова, потащила: даешь пародию! «Пародия, пародия», – петухом загоготал поэт и с величайшей охотой стал выбрасывать ноги от коленей вбок, выказывая таким образом полную осведомленность и распахивая классный пиджак, специально для сегодняшнего вечера выкупленный из ломбарда.

Ну и Нина тоже не отставала, с наслаждением пародируя декадентский танец, приплывший под российские хляби из Джорджии и Южной Каролины от тех людей, что никогда таких слов, как «декаданс», не употребляли.

Вскоре все уже плясали, все пародировали, даже дядюшка Галактион при всех семи пудах своего жизнелюбия, не говоря уже о гибких джигитах-племянниках, и даже и сама именинница не без некоторого ужаса, поднимая тяжелый шелк до своих слегка суховатых колен... полы на старой даче ходили ходуном, нянюшка из кухни поглядывала в страхе, собака лаяла в отчаянии... может быть, старый мир и обречен, но дача рухнет прежде... и даже комбриг, и даже комбриг, влекомый соблазнительной своей женою, пышущей клубничным жаром Вероникую, сделал не менее дюжины иронических па, и даже исполненный презрения Стройло бухал, хоть и не в такт, но с хорошим остервенением... и только лишь строгий марксист Кирилл Градов остался верен своим принципам, демонически глядя с антресолей на трясущуюся вакханалию.

– Перестань ты бучиться, Кирка, – сказал ему старший брат, поднимаясь на антресоли с бутылкой в правой руке и с двумя рюмками в левой. – Давай выпьем за маму!

– Я уже выпил достаточно, – буркнул Кирилл. – Да и ты, кажется... выпил предостаточно, товарищ комбриг.

Никита, поднявшись лишь до половины лестницы, начал отступление вниз, изображая комический афронт. Ну что за тип, этот Кирюха, стоит там наверху, как член военной прокуратуры.

Комбриг и в самом деле выпил не менее шести полных рюмок водки, да еще два-три стакана грузинского вина. Только после этой дозы напряжение прошедшего дня стало отпускать его. В начале вечера он казался себе каким-то призраком, чем-то вроде посыльного жандарма под занавес в «Ревизоре», с той только лишь разницей, что при виде него никто не впадал в ступор, а, напротив, все с живостью необыкновенной как бы обтекали его скованную фигуру. Он сделал несколько телефонных звонков в штаб и в наркомат и, только лишь узнав, что Фрунзе полностью пришел в себя и чувствует себя хорошо, присоединился к пирующим.

Некоторое время он еще смотрел на всех со странной улыбкой, ощущая себя среди гостей и родственников как бы единственным реальным человеком, представляющим единственно реальный мир, мир армии, потом алкоголь, вкусная еда, веселый шум, чертов чарльстон, пышущая жаром молодости и успеха красавица, принадлежащая ему, и только ему, – все это сделало свое дело, и Никита забыл про свои ромбы и нашивки на рукаве, став вдруг обычным двадцатипятилетним молодым человеком, взялся бродить с рюмкой по всем комнатам, вмешиваться в разговоры, хохотать громче других над анекдотами, крутить вокруг себя ловкую сестренку... вот и буржуазную пародию рванул, и брата-буку попытался расшевелить... пока вдруг не увидел свою великолепную жену смеющейся в окружении нескольких мужчин. Мерзейшая мысль тут посетила его: «Собачья свадьба вокруг Вероники», и он внезапно понял, что дичайшим образом пьян.

И вот тут еще по соседству прорезался из шума гадкий голосок испитого юнца с лиловыми подглазьями... «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед...» Он хорошо знал этот тип штабных кокаинистов из богемы, губки и носик вечно вздуты, раздражены, сродни каким-то ботаническим присоскам... вот именно

такие дурили головы стишками и белым порошком... кому?... вот именно нашим девушкам, тянули наших девушек в штабные закоулки, романтики, оскверняли наших девушек в чуланчиках, в платяных шкафах, даже и в сортирчиках, наших девушек растаскивали, употребляли их на диванах, за диванами, на роялях, на бильярдных столах, под роялями, под столами, в подвалах, на крышах, наших девушек, среди гнили разгромленных парников... а потом подсовывали их комиссарам, чекистам, всякой сволочи... наших девушек, бестужевых, смолянок, под хор штабной швали... да еще с гитарками, с бумажными цветками в кудрях... молодость, революция...

Он еще понимал, что в голове у него проносится какой-то идиотский, да к тому же еще и белогвардейский вздор, что не так уж много он и встречал по штабам этих оскверненных так называемых наших девушек, однако ярость уже вздымала его на свой гребень, и, почти потеряв возможность сопротивляться ей, он сделал шаг в романтику революции.

– Позвольте вас спросить, а вы лично бывали в Кронштадте?

– Вообразите, комбриг, бывал! – запальчиво вскричал «юнец». Он, кажется, охотно принимал вызов. Белые глаза, дергающаяся щека, «юнец» был по крайней мере ничуть не моложе комбрига. – Я участвовал в штурме!

– Ага! – Никита плотно взял его за плечо, близко придвинулся. – Значит, и расстрелы видели? Видели, как мы матросиков десятками, сотнями выводили в расход?

– Они нас тоже расстреливали! – «Юнец» пытался освободиться из-под руки комбрига. – В крепости был белый террор!..

– Неправда! – вдруг завопил Никита, да так грозно, что все вокруг затихло, только мяукающий негритянский голосок долетал с пластинки. – Они нас не расстреливали! Матросы в Кронштадте большевиков не расстреливали! Они с нас только обувь снимали! – Круг лиц, скопившихся около него, вдруг проехал перед Никитой престранной лентой, объемы исчезли, остались только плоскости, он выпустил мягкое плечо. – У всех арестованных были конфискованы сапоги, это верно, – пробормотал он, – сапоги передавались босым членам команды... коммунисты взамен получали лапти... – Он снова взмыл. – Лапти, товарищи! Расстрелов не было! Даже меня, лазутчика, они не расстреляли! Это мы их потом... по-палачески... зверски!

Гости, огорошенные, молчали. Вдруг с антресолей простучали шаги, скатился Кирилл, яростно бросился к брату:

– Не смей, Никита! Не повторяй клеветы!

Вероника уже висела на плече мужа, тянула в глубину дома, мама Мэри шла за ними с подносом аптечных пузырьков. Дядюшка Галактион замыкал шествие, жестами успокаивая гостей – бывает, мол, бывает, ничего страшного. С порога Никита еще раз крикнул:

– Каратели! Кровавая баня! В жопу вашу романтику!

Наркомвоенмор и в самом деле чувствовал себя значительно лучше. Он улыбался профессору Градову, пока пальцы того – каждый будто отдельный проникновенный исследователь – ощупывали его живот и подвздошные области.

– Кажется, ваш сын, профессор, служит в штабе Тухачевского? Я знаю Никиту. Храбрый боец и настоящий революционер.

Борис Никитич сидел на краю постели, бедром своим упираясь в бедро командарма. Тысячи больных прошли перед знаменитым медиком, однако никогда раньше, даже в студенческие годы, он не ощущал никакой странности в том, что человек перед ним превращается из общественного понятия в физиологическое и патологическое. От этого тела даже и в распростертом под пальцами врача положении исходила магия власти. Появлялась вздорная мысль – может быть, у этого все как-нибудь иначе? Может быть, желудок у него переходит в Перекоп?

Пальпируя треугольник над двенадцатиперстной кишкой и проходя через порядочный жировой слой все глубже, он обнаружил несколько точек слабой болевой чувствительности.

Возможно, имеет место небольшой экссудат, легкое раздражение брюшины. Печень в полном порядке. Теперь возьмемся за аускультацию сердца.

Когда он склонился над грудью, то есть опять же над вместилищем героической легенды, Фрунзе на мгновение отвел в сторону его стетоскоп и прошептал почти прямо в ухо:

– Профессор, мне не нужна операция! Вы понимаете? Мне ни в коем случае сейчас не нужна операция...

Глаз в глаз. Белок самую чуточку желтоват. Веко на секунду опускается, давая понять, что профессору Б. Н. Градову оказывается полное и конфиденциальное доверие.

Происходит, кажется, что-то неладное, подумал Борис Никитич, выходя из палаты наркома. Странный пафос Рагозина, этот шепот... ммм... пациента... Какие-то «тайны мадридского двора»... Повсюду посты, странные люди... Больница, кажется, занята армией и ГПУ...

Не успел он пройти и десяти шагов по коридору, как кто-то тронул его за рукав. Тонем чрезвычайной серьезности было сказано:

– Пожалуйста, профессор, зайдите вот сюда. Вас ждут.

Тем же тоном сопровождающему Вуйновичу:

– А вас, товарищ комполка, там не ждут.

В кабинете заведующего отделением две пары глаз взяли его в клещи. Белые халаты поверх суконных гимнастеров ни на йоту не прикрывали истинной принадлежности ожидающих; да она и не скрывалась.

– Правительство поручило нам узнать, к какому выводу вы пришли после осмотра товарища Фрунзе.

– Об этом я собираюсь сейчас доложить на консилиуме, – пытаюсь скрыть растерянность, он говорил почти невежливо.

– Сначала нам, – сказал один из чекистов. «Ни минуты не задержусь, чтобы застрелить тебя, сукин сын», – казалось, говорили его глаза.

Второй был – о да! – значительно мягче:

– Вы, конечно, понимаете, профессор, какое значение придается выздоровлению товарища Фрунзе.

Борис Никитич опустил на предложенный стул и, стараясь скрыть раздражение (чем же еще была вызвана излишняя потливость, если не раздражением), сказал, что склонен присоединиться к мнению Ланга – болезнь серьезная, но в операции нужды нет.

– Ваше мнение расходится с мнением Политбюро, – медленно, подчеркивая каждое слово, произнес тот, кого Борис Никитич почти подсознательно определил как заплечных дел мастера, «расстрельщика».

– В Политбюро, кажется, еще нет врачей, – ответил он пренебрежительным тоном. – Для чего, в конце концов, меня вызвали на консилиум?

«Расстрельщик» впился немигающими глазами в лицо – почти нестерпимо.

– Становясь на такую позицию, Градов, вы увеличиваете накопившееся к вам недоверие.

«Накопившееся недоверие...» – теперь уже он весь покрылся потом, чувствовал, как стекает влага из-под мышек, и понимал, что потливость вызвана не раздражением, но ошеломляющим страхом.

Чекист извлек из портфеля объемистую папку, без всякого сомнения – досье, личное дело Государственного Политического Управления на профессора Б. Н. Градова!

– Давайте уточнять, Градов. Почему вы ни разу не указали в анкетах, что ваш дядя был товарищем министра финансов в Самарском правительстве? Не придавали этому значения? Забыли? И парижский его адрес вам неизвестен – улица Вожирар, номер 88? И ваш друг Пулково не навещал вашего дядю? А вот скажите – встречались вы сами с профессором Устряловым? Какие инструкции привез он вам от вождей эмиграции?

Семь этих вопросов подобны были мощным ударам кнута, и только после седьмого наступила пауза, сродни удушению.

– Что вы говорите, товарищ? Да как же можно так говорить, товарищ...

Любовно отглаженный носовой платок, прижатый к лицу, мгновенно превратился в унизительную тряпку. «Расстрельщик» бешено шарахнул кулаком по столу:

– Тамбовский волк тебе товарищ!

Борис Никитич вбок потянул свой изысканный галстук. Позднее, анализируя это состояние и унизительные движения, он все оправдывал неожиданностью. Так, очевидно, и было; могли он предположить, что в родной клинической обстановке ждет его допрос с пристрастием.

Второй чекист, «либерал», не без некоторого возмущения повернулся к товарищу:

– Возьми себя в руки, Бенедикт! – Тут же приблизился к Градову, мягко притронулся к плечу. – Простите, профессор, у Бенедикта порой нервы шалют. Последствия Гражданской войны... пытки... в белых застенках... Классовая борьба, Борис Никитич, порой принимает очень жестокие формы... что делать, порой мы становимся жертвами истории... вот поэтому и хотелось бы избежать ошибок, рассеять недоверие, накопившееся к вам, а стало быть, увы, чисто механически, и к вашим детям... при всем огромном уважении к вашему врачебному искусству... особенно важно, чтобы ученый с таким именем занял правильную позицию, показал, что ему небезразличны судьбы республики... что он сердцем, сердцем с нами, а не холодным расчетом буржуазного «спеца»... и вот в таком важнейшем деле, как спасение нашего героя командарма Фрунзе, хотелось бы видеть, что вы не прячетесь в кусты ложного объективизма... не отстраняетесь...

Борис Никитич опускал голову, бесповоротно праздновал труса.

– В конце концов, – пробормотал, – я и не говорил, что хирургическое вмешательство противопоказано...

Мягко обласкивающая его плечо рука нажала еще чуть-чуть посильнее; между плечом и рукой возникал своего рода интим.

– В известной степени радикальные меры всегда эффективнее терапии...

Рука отошла. Не поднимая головы, он почувствовал, что чекисты обменялись удовлетворенными взглядами.

Вадим Вуйнович, придерживая хлопающий по бедру планшет, стремительно сбегал по лестнице навстречу только что подъехавшим Базилевичу и двум его помощникам из штаба Московского военного округа.

– Разрешите доложить, товарищ Базилевич. Нарком принял решение идти на операцию. Предложение Политбюро подкреплено большинством консилиума. Сейчас уже идет подготовка...

Командующий МВО медленно, как будто желая сбить ритм запыхавшегося нервного комполка, расстегивал шинель, обводил взглядом вестибюль, лестницу, окна, в которых в осенней серости выделялись черные стволы деревьев и белые полосы первого снега.

– Караулы ГПУ продублировать нашими людьми, – тихо сказал он одному из своих помощников.

– Есть, – последовал короткий ответ.

Вадим не смог скрыть вздоха облегчения. С приходом Базилевича ему показалось, что все еще может обойтись, мощная логика РККА скажет свое слово, и странная зловещая двусмысленность, собравшаяся под сводами Солдатёнской больницы, окажется лишь плодом его воображения.

К полуночи добрая половина гостей, то есть респектабельная публика, разъехалась с дачи Градовых, что навело неиссякающего тамаду Галактиона Гудиашвили на новые грустные раз-

мышления о природе «старших братьев», россиян. «С пэчалю я смотрю на этих москвичей, какие-то, понимаешь, стали слишком эропейцы, прямо такие нэмцы, нэ умэют гулять», – говорил он, забыв о своих недавних пассажах о скифских варварах. Все-таки он продолжал верховодить за опечаленным столом, стараясь хотя бы оставшихся напоить допьяна.

Еще больше, чем респектабельная публика, огорчала дядю Галактиона молодежь: она и не разъехалась, и на «вэликолепные» напитки мало обращала внимания. Забыв о том, что молодость в жизни бывает только один раз («Только один раз, Мэри, дорогая, ты знаешь это не хуже меня»), молодежь сгрудилась на кухне и галдела, как кинто на базаре, спорила по вопросам осточертевшей всем народам Средиземноморского бассейна мировой революции.

Споры эти вспыхнули как бы стихийно, однако никто и не сомневался, что они вспыхнут. Было бы странно, если бы в конце концов не были забыты все второстепенности, флирт и вино, анекдоты, поэзия, театральные сплетни и если бы не вспыхнул на кухне – вот именно и непременно на кухне, среди немытых тарелок, – характерный для интеллектуальной, партийной и околопартийной молодежи спор на политические темы. Страстные революционеры тут были, разумеется, в полном и подавляющем большинстве, однако сколько голов, столько и разных путей для скорейшего достижения счастья человечества. «Органов» пока эта молодежь не так уж боится, ибо полагает ЧК – ГПУ отрядом своей собственной власти, а потому можно и голосовые связки надрывать, и руками размахивать, и не скрывать симпатий к различным фракциям, к троцкистам ли с их «перманентной революцией», к какой-нибудь до сего вечера неизвестной «платформе Котова – Усаченко», к антибюрократической ли «новой оппозиции» и даже к «твердокаменным» сталинистам, которые даже и при всей их унылости все-таки тоже ведь имеют право высказаться, ведь никому же нельзя зажимать глотку, ребята, ведь в этом-то как раз и состоит смысл партийной демократии.

Из общего шурум-бурума мы вытащим пока всего лишь несколько фраз и предложим читателю вообразить их гулкое эхо, проходящее по студенческим аудиториям того времени.

«...Пора покончить с нэпом, иначе мы задохнемся от сытости...»

«...Социализм погибнет без поддержки Европы!...»

«...Ваша Европа танцует чарльстон!...»

«...ЛЕФ – это фальшивые революционеры! Снобы! Эстеты!...»

«...Бухарин поет под дудку кулаков!...»

«...Слышали, братцы, в Мюнхене появилась партия национал-большевиков? Нет предела мелкобуржуазному вздору!...»

«...Почему от народа скрывают завещание Ленина? Сталин узурпирует власть!...»

«...Вы плететесь в хвосте троцкизма!...»

«...Лучше быть в хвосте у льва, чем в заднице у сапожника!...»

«...В старое время за такое бы по морде!...»

Время было пока еще «новое», и обошлось без мордобоя, хотя Ниночкин «пролетарский друг» Семен Савельевич Стройло не раз вожаделенно взвешивал в руке непечатую банку «царских рыжиков».

Автоматически растирая щеткой кисти рук и предплечья, профессор Градов старался не смотреть на коллег. Впрочем, и остальные участники операции, Греков, Рагозин, Мартьянов и Очкин, мылись молча и самоуглубленно. Никому и в голову не приходило этой ночью демонстрировать какие-либо излюбленные «профессорские штучки», юмор ли, мычание ли оперной арии, хмыканье, фуканье, все эти чудачества, до которых всегда были охочи московские светила, столь обожаемые средним, полностью женским, хирургическим персоналом. Никогда еще в этих стенах не проходили антисептическую обработку одновременно пять крупнейших хирургов, и никогда еще здесь не было такого напряжения.

Из операционной вышли анестезиологи, доложили, что дача наркоза прошла нормально. Больной заснул. Градов, которому предстояло начать, то есть открыть брюшную полость наркома, распорядился, чтобы ни на минуту не прекращался контроль пульса и кровяного давления. Подготовлены ли все стимуляторы сердечно-сосудистой деятельности? Это главный аспект операции.

Он уже держал на весу руки в резиновых перчатках, когда Рагозин, тоже закончивший обработку, попросил его на секунду в сторону:

– Что с вами, Борис Никитич?

– Все в порядке, – пробормотал Градов.

– Вы мне сегодня не нравитесь, дорогой. У вас дрожат лицевые мышцы. У вас, кажется, и пальцы дрожат...

– Нет, нет, я в порядке. Помилуйте, ничего у меня не дрожит. Не стоит, право, перед началом операции... как-то странно... не очень-то этично...

– Да-да, – проговорил Рагозин, как бы разглядывая его лицо складку за складкой. – Пожалуй, вам не стоит, мой дорогой, непосредственно участвовать. Будьте рядом на случай чего-нибудь непредвиденного, а мы начнем, помолясь...

«Боже, – подумал Градов, – не участвовать в этом». Ничего толком не понимая, замороченный и растерянный, однако уже отстраненный от этого, освобожденный, он пожал плечами, стараясь не выказать своих эмоций.

– Что ж, вы начальник. Прикажете размыться?

– Э, нет, батенька! – жестко проговорил Рагозин. – Начальников здесь нет. Мы все, и вы тоже, равноправные участники операции. Будьте наготове!

Градов сел на диван в углу предоперационной, откинул голову и закрыл глаза. Он уже не видел, как четверо хирургов, держа на весу обработанные руки, будто жрецы какого-то древнего культа, проходили за матовое стекло.

К концу ночи молодежь, персон не менее дюжины, отправилась на берег Москвы-реки. Под ногами хрустели льдинки мелких лужиц. Меж соснами, в прозрачном космосе еще пылали звезды, стоял «и месяц, золотой и юный, ни дней не знающий, ни лет»...

– Я слышал, он читал это недавно в Доме архитекторов, – сказал Степан Калистратов.

– А помнишь, там же! – вскричала Нина. – Никогда не забуду этот голос... «Я буду метаться по табору улицы темной За веткой черемухи в черной рессорной карете, За капором снега, за вечным, за мельничным шумом...» Семен, ты слышишь, Сема?!

Она как бы влекла под руку, как бы тащила, все время теребила своего долбоватого избранника Стройло, а тот как бы снисходил, как бы просто давал себя влечь, хотя временами Нинины порывы сбивали его шаг и переводили в какую-то недостойную пролетария трусцу. То кочки, то лужи какие-то под ногами – чего поперлись на реку, корни какие-то, стихи этого Мандельштама, бзики профессорских детишек...

– Что это за таборы, капоры, ребусы какие-то? – пробасил он.

– Ну, Семка! – огорченно заскулила Нина. – Это же гений, гений...

– Семен, пожалуй, прав, – сказал Савва Китайгородский. Он шел в длинном черном пальто, накрахмаленная рубашка светилась в ночи. – Черемуха и снег, как-то не сочетается...

«Какое великодушие к сопернику», – лукаво и радостно подумала Нина и крикнула идущему впереди Калистратову:

– А ты как считаешь, Степа?

– С ослами вступать в полемику не желаю! – сказал, не оборачиваясь, поэт.

У Нины едва не перехватило горло от остроты момента. Эти трое, все они влюблены, все это игра вокруг нее, все это... Она отпустила руку Семена, побежала вперед и первая достигла обрыва.

Внизу серебрилась и слегка подзолачивалась излучина реки. За ней в предрассветных сумерках обозначились редкие огни Хорошево и Сокола. До рассвета еще было далеко, однако дальние крыши и колокольни Москвы уже образовали четкий контур, а это означало, что первый день ноября 1925 года будет залит огромным светом нечастого гостя России – звезды, именуемой Солнцем.

Нина обернулась к подходящей группе. Вот они приближаются, влюбленные и друзья: Семка, Степа, Савва, Любка Фогельман, Миша Канторович, брат Кирилл, кузены Отари и Нугзар, Олечка Лазейкина, Циля Розенблюм, Мириам Бек-Назар... Их лица отчетливо видны, освещенные то ли луной, то ли предстоящим восходом, то ли просто юностью и революцией. «Какое счастье, – хотелось закричать Нине Градовой, – какое счастье, что именно сейчас! Что все это со мной именно сейчас! Что это я... именно сейчас!»

Утро застало их в окрестностях парка Тимирязевской сельскохозяйственной академии, на Инвалидном рынке. Хохоча, пили квас, когда вдруг захрипел на столбе раструб радиорепродуктора. Сквозь хрипы наконец пробилось: «Гражданам Советского Союза...» Послышались какие-то какофонические шумы, постепенно оформляющиеся в траурную мелодию «Гибели богов» Вагнера. Наконец началось чтение:

«...Обращение ЦК РКП(б)... Ко всем членам партии, ко всем рабочим и крестьянам...

...Не раз и не два уходил товарищ Фрунзе от смертельной опасности. Не раз и не два смерть заносила над ним свою косу. Он вышел невредимым из героических битв Гражданской войны и всю свою кипучую энергию, весь свой созидательный размах отдал делу строительства нашей победоносной Красной Армии...

...И теперь он, поседевший боец, ушел от нас навсегда... Умер большой революционер-коммунист... Умер наш славный боевой товарищ...»

– Кирилл! – закричала Нина брату. – Быстрей! Вон трамвай! Домой! Домой!

Так и всегда, при всех поворотах истории и судьбы, Градовы прежде всего стремились домой, собраться вместе. Только позднее, в тридцатых, дом стал казаться им не крепостью, но западней.

Борис Никитич стоял на крыльце хирургического корпуса в ожидании машины. Его била дрожь, как будто в страшном похмелье, он боялся окинуть взглядом это неожиданно золотое утро. Уже на лестнице его догоняли какие-то люди, в халатах и без оных, совали на подпись какие-то листочки все новых и новых протоколов. Он все подписывал, не читая, думал только об одном – домой, скорей домой.

Подошла машина, из нее выпрыгнул красноармеец. Прошел комполка Вуйнович. Градова будто качнула волна от его мощного и враждебного тела. Послышался голос:

– Фокин, отвезешь домой это дерьмо!

Антракт I. ПРЕССА

...Затемнение сознания началось за 40 минут до кончины. Смерть произошла от паралича сердца после операции...

Образована похоронная комиссия в составе: тов. Енукидзе, Уншлихт, Бубнов, Любимов, Михайлов...

...В лице покойного сошел в могилу виднейший член правительства...

...Состоялось заседание Реввоенсовета, председательствовал заместитель тов. Фрунзе Уншлихт, присутствовали члены РВС Ворошилов, Каменев, Бубнов, Буденный, Орджоникидзе, Лашевич, Баранов, Зоф, Егоров, Затонский, Элиава, Хадыр-Алиев...

...В Кронштадте и Севастополе салют произвести из береговых и судовых орудий: в первом – 50 выстрелов, во втором – 25...

...В похоронной церемонии участвовать отряду комполитсостава, авиаотряду МВО и Первой сводной роте Балтфлота. Ответственный – комкор XVII тов. Фабрициус...

...Унынию не должно быть места! Теснее ряды!..

...Из протокола вскрытия: в брюшной полости 200 см³ кровянистой, гноевидной жидкости... Бактериоскопически обнаружен стрептококк... Анатомический диагноз: зажившая круглая язва 12-перстной кишки... Острое гнойное воспаление брюшины... Ненормально большая зубная железа... Операция вызвала обострение хронического воспалительного процесса, тянувшегося с 1916 года после аппендэктомии, что в сочетании с нестойкостью организма в отношении наркоза вызвало быстрый упадок сердечно-сосудистой деятельности и смертельный исход.

Кровотечения последнего времени были следствием поверхностных изъязвлений.

Проводил вскрытие профессор А. И. Абрикосов...

...Телеграмма тов. Троцкого ЦК партии: «Потрясен! Какая жестокая брешь в первой шеренге партии! Какой страшный удар к восьмой годовщине Октября!..»

...После бальзамирования тело перенесено в конференц-залу... В почетном карауле генштабисты, близкие товарищи Рыков, Каменев, Сталин, Зиновьев, Молотов... Охрану несут курсанты школы ВЦИК...

...Соболезнования – японского посольства, исполняющего обязанности турецкого военного атташе г-на Беды-Бей, эстонского военного атташе г-на Курска...

Н. Бухарин: «...Воплощенная мягкость, Фрунзе был громовым полководцем...»

С. Зорин: «...Светящийся след...»

М. Кольцов: «...Ядро большевистской гвардии несет неизгладимый отпечаток царского преследования... ЦК должен обратить серьезное внимание на редеющие ряды...»

...Ввиду интереса публики и в связи с разговорами об операции печатаем выписки из истории болезни.

...Консультации шли непрерывно, начиная с 8 октября, при участии Н. А. Семашко, Бурденко, Градова, Мартынова, Рагозина, Ланга, Канеля, Крамера, Левина, Плетнева, Обросова, Александрова и других профессоров... Наклонность к кровотечениям требовала оперативного вмешательства...

...Подъезжают автомобили. Вот приехал китайский генералиссимус Ху Хань Минь... делегации заводов... на крышке гроба золотое оружие... в Колонном зале весь состав Политбюро... «Гибель богов» сменяется «Интернационалом»... Пятого ноября... снег... речь Сталина: «...Товарищи, этот год был для нас проклятьем. Он вырвал из нашей среды целый ряд руководящих товарищей... Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу. К сожалению, не так легко и далеко не так просто поднимаются наши молодые товарищи на смену старым... Будем же верить, будем надеяться, что партия и рабочий класс примут все меры к тому, чтобы облегчить выковку новых товарищей на смену старым...»

Тухачевский: «...Дорогой, любимый друг!.. Я встретился с Михаилом Васильевичем в период развала Восточного фронта... Спокойствие, уверенность сквозили во всей славной фигуре тов. Фрунзе... Прощай!..»

...ЦИК СССР постановил назначить наркомвоенмором тов. Ворошилова; первый заместитель М. М. Лашевич, второй заместитель И. С. Уншлихт.

Антракт II. ПОЛЕТ СОВЫ

Четырехсотлетний Тохтамыш редко покидал насиженное гнездо под шатром Водовзводной башни. Казалось, одна была задача у старой птицы – пересидеть в сонливой задумчивости все эти столетия. С какой целью их следовало пересиживать, боюсь, ему (ей) самому (самой) было неведомо. И только тогда, когда в крепости вдруг ломался порядок дней, Тохтамыш по ночам вываливался через одному ему знакомую апертуру в поток московского воздуха и совершал облет стен, как бы желая удостовериться – устоят ли? Так и в ту ночь, уловив какой-то своей ускользнувшей от внимания орнитологии мембраной волнение новых князей, называемых комиссарами, Тохтамыш пустился в свой неслышный, не ахти какой грациозный, однако исполненный онтологической уверенности полет.

Поднявшись саженей на полста – в воздухе, кроме пары заштатных ворон, никого не замечалось, пахло дымком, дерьмецом, как обычно, пороху не учуял, – он описал широкий круг над своим пристанищем, потом, снижаясь, миновал Боровицкую, пролетел, если не проплыл, над Оружейной палатой и Потешным дворцом, приблизился к Арсеналу...

Все было тихо, вязко и сыровато, караулы на местах, двери на запорах, внешне ничто не выдавало волнения комиссаров, которое Тохтамыш уловил своей таинственной мембраной, и только во дворе Арсенала металось нечто.

Тохтамыш опустил на желоб водостока, брезгливо отвернулся от валявшегося там воробышного трупика – он уже лет сто пятьдесят не жрал падаль – и уставился на мечущееся нечто, а именно на здешнего придворного поэта Демьяна, который называл себя «бедным», хотя и был богаче многих.

Сыч уже видел как-то мельком этого человечка, невзлюбил его сразу и запомнил. Мышиную суетливость свою Демьян прикрывал, анамсыгым-туганда, революционной романтикой, бездарность виршей – актуальностью.

Что же это он так мечется, будто барсук, нажравшийся волчьей ягоды? Ах да, вдохновение! В громовые дни набега, еще в том, прежнем обличье, Тохтамыш отличался остротой слуха. Сейчас он попробовал к ней вернуться и уловил бормотание.

«...Друг, милый друг... – бормотал Демьян, заламывая руки и подымая горе мясистое лицо, то ли ища луну, то ли принимая два светящихся совиных глаза за ободряющее созвездие. – Давно ль?.. Так ясно вспоминаю (аю, аю, аю): агитку настрочив в один присест (сест, сест, сест), я врангелевский тебе читаю (аю, аю, аю,) манифест (фест, фест, фест)... Их фанге ан, я нашинаю... Как над противником смеялись мы вдвоем (ем, ем, ем)! Их фанге ан!.. Ну до чего ж похоже (оже, оже, оже)! Ты весь сиял: у нас среди бойцов подъем (ем, ем, ем)! Через недели две мы „нашинаем“ тоже (оже, оже, оже)... Потом... мы на море смотрели в телескоп (коп, коп, коп)... Железную рукой в советские скрижали вписал ты „Красный Перекоп“ (коп, коп, коп)... А где же жали-жали-жали?..

...Потом, потом, сейчас главное – не упустить вдохновения, рифмы потом... И вот... неожиданно роковое свершилось что-то... Не пойму (му, му, му), я к мертвому лицу склоняюсь твоему (му, му, му) и вижу пред собой лицо... какое?.. живое! (вое, вое, вое)... Стыдливо-целомудренный герой (рой, рой, рой), и скорбных мыслей рой (ой, ой, ой)... совсем неплохо, попушкински получается... нет сил облечь в слова прощального привета... звонить в „Правду“ немедленно... (ета, ета, ета)»

Больше такого надругательства над ночными словосочетаниями Тохтамыш терпеть не мог и потому нырнул вниз, овеял поэта страшноватым крылом, дабы заткнулась грязная пасть.

Глава III

Лечение Шопеном

Год завершился в шелесте вечно двусмысленных газет, в грохоте все расширяющейся трамвайной сети Москвы, в кружении будто обугленных обитателей московского неба, во все нарастающих синкопах чарльстона, бросающего вызов триумфальному, хоть иногда и расползающемуся, словно мазут, гулу пролетарских труб.

Пришли снега, и сошли снега, накрылись и прошумели сады перед тем, как в начале октября 1926 года наше повествование вновь, вслед за молочницей Петровной, въехало на дачу Градовых в Серебряном Бору.

Двери всех комнат внизу открыты. Пусто, чисто, светло. Из библиотеки разносится Шопен. Мэри Вахтанговна играла, как всегда, бурно, с вдохновением, как бы придавая средневропейским равнинным пассажирам некое кавказское стаккато. Время от времени, однако, она бросала быстрые внимательные взгляды на мужа, который сидел в глубоком кресле, закрыв глаза ладонью.

Рядом с хозяином в классической позе молодого послушного пса сидел Пифагор. Его высокие уши тоже улавливали поток непротивных звуков. Иногда неслышно, в шерстяных носках проходила по комнатам Агаша, раскладывала по полкам чистое белье, поглядывала на хозяина, вытирала платочком уголки глаз.

Борис Никитич в шелку между пальцами созерцал вдохновенный профиль жены. «Странно, – думал он, – ее княжеский профиль меня никогда эротически не тревожил. Но вот когда она поворачивалась ко мне лицом, с этими высокими крестьянскими скулами и пухлыми губами... Почему я думаю об этом в прошедшем времени, мы еще молоды, в конце концов, наше либидо еще...»

Молочница Петровна с тяжелыми бидонами, корзиной и ведром шумно размахалась дверьми и увидела утреннюю идиллию. «Ишь ты, – с умилением подумала она, – жив буржуй».

– Господь с тобой, тише, Петровна! – бросилась к ней Агаша. – Пошли, пошли на кухню! На кухне, выгружая сметану и творог, Петровна поинтересовалась:

– Чего-сь тут у вас такое?

– Профессор музыкой лечится, – значительно пояснила Агаша.

– Простыл, что ли?

– Ах, Петровна, Петровна, – покачала головой утонченная Агаша.

– А мой-то от всего стаканом лечится, – вздохнула Петровна. – Не поможет стакан, второй берет. Тогда порядок.

– Ну, иди-иди, Петровна.

Сунув деньги, Агаша спровадила пышущую здоровьем и чистотой бабу за дверь, а сама остановилась у притолоки – внимать.

Мэри закончила концерт блестящим глиссандо и встала.

– Как ты себя чувствуешь, Бо?

Борис Никитич тоже поднялся из кресла.

– Спасибо, Мэри! Ты же знаешь, мне этот прелюд всегда помогает. – Он подошел к жене и обнял ее за плечи, деликатнейшим образом стараясь повернуть ее к себе лицом. Мэри Вахтанговна уклонилась и показала в окно:

– Смотри, Пулково уже приехал!

От калитки к дому под пролетающими желтыми листьями не торопясь шел Леонид Валентинович Пулково в своем английском «шерлок-холмсовском» пальто.

– При всем своем разгильдяйстве Ленка всегда точен, – улыбнулся профессор.

– Ну, отправляйтесь все гулять, – распорядилась Мэри Вахтанговна. – Пифагор, ты тоже идешь с папочкой.

Пес радостно закружился вокруг, временами, будто заяц, поджимая задние ноги.

Агаша уже стояла в дверях с пальто и шляпой для профессора.

– Позвольте напомнить, Боренька и Мэричка, Никитушка и Вероникочка к ужину прибывают прямо с вокзала, – сказала она.

– Да-да, Бо, ты не забыл? Через два часа у нас полный сбор, – строго, пытаясь сдержать какое-то экстатическое чувство цельности, произнесла Мэри Вахтанговна.

Пес не мог сдержать, очевидно, очень похожего чувства, подпрыгнул и лизнул хозяйку в подбородок.

– Да-да, Пифа, ты не забыл! – восхитилась она. – Я вижу, вижу! Напомни в крайнем случае своему папочке, если он вместо оздоровительной прогулки отправится со своим другом на ипподром.

Весь прошлый год Борис Никитич, невзирая на сильнейшие приступы уныния, работал как оглашенный. За операционным столом он уже, по сути дела, не знал себе равных – то, что называется мастерством, давно ушло, уступив место высочайшему классу, виртуозности. Он и в самом деле ощущал себя с ланцетом и кохером в руках чем-то вроде дирижера и скрипача-солиста одновременно. В минуты вдохновения – да-да, он испытывал иной раз истинное хирургическое вдохновение! – ему казалось, что вся сфера жизни, находящаяся в этот момент под его господством – ассистенты, сестры, инструменты, распростертый пациент, – в эти минуты вся жизнь улавливает не только его слова, хмыканья, покашливания, малейшие жесты, но и мысли, никак не выраженные, чтобы немедленно им подчиниться, и не ради подчинения, а ради общего согласного звучания, то есть гармонии.

Лекции его всегда собирали «битковую» аудиторию. Врачи из столичных клиник и из провинции ссорились со студентами из-за мест. Говорили, что даже университетские филологи приезжают, якобы для того, чтобы удостовериться на его примере в жизнеспособности и идейной цельности сохранившейся части российской интеллигенции.

Еще большие успехи были достигнуты в теории и создании школы. Статьи, направленные на развитие его оригинальной концепции хирургического вмешательства, вызвали немедленные живые дискуссии на заседаниях Общества и в печати, как отечественной, так и, да-с, зарубежной. Молодые врачи, идущие по его стопам, и среди них прежде всего талантливейший Савва Китайгородский, гордо называли себя «градовцами». Словом... да что там... как бы там ни было... ах, черт возьми...

Кто из этих «градовцев», кроме, может быть, Саввы, когда-либо догадывался, что их кумир время от времени со стоном и скрежетом зубным валится на диван, набок, скатывается по кожаной наклонности на ковер, стоит там на коленях, дико исподлобья оглядывает углы, умоляюще вскидывает бородку к потолку, будто ищет икону, коих по наследственному позитивизму уж, почитай, столетие Градовы в доме не держат. Еще и еще раз спрашивает он себя: что же тогда произошло в Солдатёнковской больнице? «Ничего не произошло, я просто был отстранен, со мной не считались, – говорит он себе сначала в дерзкой гордыне, – как угодно, мол, считайте, Ваша Честь Верховный Судия, но я себя ни лжецом, ни трусом не признаю».

Повыв, однако, немного и подергавшись, если Мэри вовремя не войдет и не ринется к роялю, он начинает понемногу сдавать позиции. Ну, спраздновал труса, да; ну, испугался Чека, но кто ж этих извергов не боится, ну... Ну вот и все, Милосердный! И только уж на третьей фазе, опять же если Мэри умудрится прохлопать развитие кризиса, Борис Никитич позволял себе кое-какое рукоприкладство к своему гардеробу – то рубашку рванет на груди, как кронштадтский матрос, то располосует жилет – и громко выкликает: «Соучастник! Соучастник!»

Да, в эти минуты он себя полагал прямым соучастником убийства главкома Фрунзе, и тут уж Мэри непременно появлялась с настойкой брома, со своей теплой грудью и со спасительным Шопеном.

И не потому, конечно, так казнился Борис Никитич, что убит был нарком, герой, могучий человек государства – ничем он был не лучше их всех, такой же изверг, расстреливал пленных, – а потому, что это был пациент, святое для врачебной совести тело.

К счастью, приступы такой несправедливости, вот именно несправедливости по отношению к самому себе становились все реже. В спокойные же дни если и вспоминал профессор Градов про ту октябрьскую ночь прошлого года, то думал только о том, что же фактически сделали Рагозин и другие, чтобы отправить командарма в нереальные реальности. Даже и сейчас, невзирая на почти неприкрытый цинизм этих людей, коему он был свидетель, он не мог допустить, что кто-нибудь из коллег оказался способен попросту, скажем, пересечь артерию. Ведь не буденновцы все-таки, врачи же все-таки, врачи!

Зазвенел отдаленный трамвай. Счастливые дети проскальзывали на велосипедах. Менее счастливые, но все-таки счастливые донельзя разгоняли самодельные самокаты. С шумом взлетает грай грачей, мгновенно порождая вихрь листопада.

Два друга с гимназических лет, профессор Борис Никитич Градов и Леонид Валентинович Пулково, прогуливаются в классическом стиле московской интеллигенции – шляпы чуть сдвинуты назад, пальто расстегнуты, руки за спиной, лица освещены мыслью и обоюдной симпатией. Они то идут вдоль долгих заборов, то удаляются в рощи, то выходят к трамвайной линии и тогда подзывают Пифагора – тот тут же подскакивает с раскрытой лукавой пастью – и берут его на поводок.

– Да, Бо, – чуть приостановился Пулково, – третьего дня натолкнулся в «Вечерке» на сообщение о тебе. Что же ты не хвастаешься? Назначен главным хирургом РККА! Ну, не гигант ли?

Градов слегка поморщился, однако принял предложенный гимназический тон.

– Да-с, милостисдарь, мы теперь в генеральских чинах, не вам чета. Мое превосходительство! Ты, жалкий физик, не можешь велосипеда себе купить, а у меня «персоналка» с шофером-красноармейцем! Сlopал? На здоровье!

Пулково залез безил вокруг с услужливой шляпой подхалима:

– Мы, ваше превосходительство, это дело даже очень понимаем и уважаем, с нашим полным уважением...

Градов вдруг остановился и сердито ткнул тростью в ствол ближайшей сосны:

– Я знаю, что ты имеешь в виду, Лё! Эти мои внезапные выдвижения последнего года! Вчера еще без всяких чинов, а нынче уже и завкафедрой, и главный консультант наркомздрава, вот теперь и РККА... – Он все больше волновался и обращался уже вроде бы не к своему закадычному Лё, а как бы бросал вызов некоей большой аудитории. – Ты, надеюсь, понимаешь, что мне плевать на все эти чины?! Я всего лишь врач, только лишь русский врач, как мой отец, и дед, и прадед! Ничего дурного я не сделал, решительно ничего героического, но я всего лишь врач, а не... не...

Пулково ухватил друга под руку, повлек дальше по пустынной аллее. Слева уже кружил, подпрыгивая и заглядывая в лицо, Пифагор.

– Ну что ты так разволновался, Бо? От тебя не геройства ждут, а добра, помощи...

Градов с благодарностью посмотрел на Пулково: этот всегда найдет нужное слово.

– Вот именно, – сказал он уже мягче. – Вот только оттого я и принимаю эти посты, ради больных. Ради медицины, Лё, ты понимаешь, и, в частности, ради продвижения моей системы местной анестезии при полостных операциях. Ты понимаешь, как это важно?

– Объясни, пожалуйста, – серьезно, как ученый ученому, сказал Пулково.

Градов мгновенно увлекся, в лучших традициях ухватил друга за пуговицу, потащил.

– Понимаешь, общий наркоз, во всяком случае, в том виде, как он сейчас у нас применяется, весьма опасная штука. Малейшая передозировка, и последствия могут быть... – Он вдруг осекся, будто пораженный догадкой... – малейшая передозировка, и... – Он оперся плечом о ствол сосны и тяжело задышал.

«Как это я раньше не догадался, – думал он. – Эфир в смеси с хлороформом. Вогнали в своего командарма лишнюю бутылку проклятушей смеси, и дело было сделано. Да-да, припоминаю, тогда еще мелькнуло, что пахнет эфиром сильнее, чем обычно, но...»

Теперь уже опять Пулково тянул его:

– Ну, пойдем, пойдем, Бо! Давай-ка просто подышим, помаршируем, разомнем старые кости!

Не менее четверти часа они быстро шли по просеке и не разговаривали. Потом свернули в редкий березняк и разошлись среди высоких белых стволов. Пифагор сновал между ними, как бы поддерживая коммуникацию. Вскоре, впрочем, и другая коммуникация возникла, звуковая. Ее завел Леонид Валентинович, явно напоминая Борису Никитичу те времена, когда они, гимназисты, вот так же бродили по лесу, время от времени затевая оперные дуэты.

– Дай руку мне, красotka, – гулким басом запрашивал Пулково.

– Нет, вам не даст красotka, – тенорком отвечивал Градов, ну, сущий Собинов.

Лес вскоре кончился. Оказавшись на обрыве над Москвой-рекой, они пошли по его краю в сторону дома. Пулково, как с чувством выполненного долга – находился, мол, надышался, – теперь раскуривал трубочку.

– Ну а что у тебя, Лё? – спросил Градов.

– Со мной происходят странные вещи, – усмехнулся Пулково. – С некоторого времени стал замечать за собой хвост.

– Хвост женщин, как всегда? – тепло улыбнулся Градов. Вечный холостяк, физик пользовался в их кругу устойчивой репутацией сердцеда, хотя никто не мог бы вспомнить никаких особенных фактов сердцеведства с его стороны.

– Если бы женщины, – усмехнулся снова Пулково. – Пока что за мной ходят мужчины с явным отпечатком Лубянки на лицах. Впрочем, может быть, у них есть и женщины для этой цели.

– Они! Опять они! – воскликнул Градов. – Какого черта им надо от тебя, Лё?

Физик пожал плечами:

– Просто понятия не имею. Неужто моя поездка в Англию, переписка с Резерфордом? Право, смешно. Кого в ГПИ интересуют теоремы атомного ядра?

Борис Никитич посмотрел сбоку на своего всегда такого уверенного в себе и ироничного друга и вдруг подумал, что у того, возможно, нет никого ближе, чем он, на свете.

– Слушай, Лё, хочешь, я поговорю с кем-нибудь там у них, наверху, попытаюсь узнать?

– Нет-нет, Бо, не нужно... Я, собственно, просто так тебе сказал. Ну, на всякий пожарный...

– Слушай, Лё, почему бы тебе к нам не переехать? Скажем, на полгода? Пусть они увидят, что ты не один, что у тебя большая семья.

Леонид Валентинович растроганно положил руку на плечо друга:

– Спасибо, Бо, но это уже лишнее. Сейчас все-таки не военный коммунизм.

Вечером на даче состоялся один из тех ужинов, что становились как бы вехами в жизни маленького клана, – полный сбор. Чаще всего он объявлялся в связи с приездом из Минска комбрига Никиты и Вероники; однако возможность всем увидеться была только внешним поводом. Каждый понимал, что главная ценность полного сбора состоит в проверке прочности

основ, в оживлении того чувства цельности, от которого у мамы Мэри иногда просто перехватывало дыхание.

Итак, все уже, или почти все, собрались вокруг стола, нет только Нинки; егоза, разумеется, опаздывает.

– Где же эта чертова Нинка? – надувает губы капризная Вероника.

Красавица за истекший год весьма раздулась, еле помещается в широченном, специально сшитом полесском платье. Губы и нос у нее припухли, каждую минуту она готова заплакать.

«Я старше Нинки на каких-нибудь несколько лет, – думает она, – а вот сижу тут брюхатая, как деревенская дура, а Нинка небось где-нибудь слушает Пастернака или у Мейерхольда крутится... И все Никита, это все он, эгоист противный...»

Борис Никитич, сияя, потянулся к невестке, кольнул бороденкой в щеку, поднял бокал, обращаясь к ее огромному животу:

– Уважаемый сэр Борис Четвертый! Надеюсь, вы меня слышите и готовы подтвердить, что в отличие от нынешнего поколения революционеров вы собираетесь восстановить и продолжить градовскую династию врачей!

Вероника скривила рот – шутка тестя показалась ей тошнотворней всей расставленной на столе великолепной кулинарии. Никита встревоженно к ней повернулся, но она все же преодолела отвращение и вдруг неожиданно для себя ответила тестю вполне сносной, в позитивном ключе, шуткой же:

– Он спрашивает, в какой медицинский институт поступать, в Московский или Ленинградский?

Все вокруг замечательно захохотали.

– Что за вопрос?! – грозно взревел Борис III, то есть профессор Градов. – В мой институт, конечно, к деду под крыло!

Все стали шумно чокаться и закусывать, а Вероника, опять же к полному собственному изумлению, вдруг взалкала маринованных помидоров и придвинула к себе целое блюдо.

Тут захлопали входные двери, протопали быстрые шаги, и в столовую вбежала Нина; темно-каштановые волосы растрепаны, ярко-синие глаза пылают в застойном юношеском вдохновении, воротник пальто поднят, под мышкой портфель, на плече рюкзак с книгами.

– Привет, семейство!

Взвизгнув, бросилась к Веронике, поцелуй в губки и животик, плюхнулась на коленки к брату-командиру, с трагической серьезностью пожала руку брату-партработнику – «Наше вам, товарищи твердокаменные!» – будто английская леди, протянула руку для поцелуя Леониду Валентиновичу Пулково и, наконец, всех остальных одарила поцелуями. Самый нежный поцелуй достался, конечно, Пифочке, Пифагору.

– Хотя бы по случаю приезда брата могла прийти вовремя, – проворчала Мэри Вахтанговна.

Нина, еще не отдышавшись то ли от бега, то ли от буффонады, а может быть, от «исторического возбуждения», вытащила из рюкзака свежий номер «Нового мира», швырнула его на стол – пироги подпрыгнули.

– Ну-с, каково?! В городе дикий скандал! Сталинисты рычат от ярости. Вообразите, ребята, весь тираж «Нового мира» с «Непогашенной луной» конфискован! Совсем с ума посходили! У них почва уходит из-под ног, вот в чем дело!

Все собравшиеся улыбались, глядя на возбужденную девчонку. Даже мама Мэри хмурилась только притворно, с трудом скрывая обожание. Всерьез хмурился лишь Кирилл. Он сурово постукивал пальцами по столу и смотрел на сестру суженными глазами, едва ли не в стиле следователей ГПУ.

Нина же с изумлением вдруг поняла, что присутствующие, что называется, «не в курсе». То, что буквально ярило факультет, да и вообще всю «молодую Москву», здесь, в Серебряном Бору, было лишь каким-то отдаленным звуком вроде погромыхания трамвая.

– Позвольте узнать, мисс, что это за «Луна», что наделала такого шума? – поинтересовался Пулково.

– Повесть Пильняка, неужели не слышали?

– А о чем эта повесть, малыш? – спросил отец.

– Ну вы даете, народы! – захохотала Нина. – Помните, прошлой осенью? Смерть командарма Фрунзе в Солдатёнковской больнице? Ну вот, я еще не читала, но повесть именно об этом, Пильняк намекает на подозрительные обстоятельства...

Она осеклась, заметив вдруг, что все лица за столом окаменели.

– Что такое с вами, народы?

За столом воцарилось неуклюжее молчание. Нина переводила взгляд с одного на другого. Отец сидел неподвижно, глаза его были закрыты. Мать тревожно смотрела на него, дрожащим голосом бормотала что-то растерянное, можно было уловить: «...какие, право, неуместные... странные... такой вздор... глупые сплетни...» Пулково застыл с не донесенной до рта рюмочкой водки. Тихо поскуливал Пифагор. Агаша с поджатыми губами терла полотенцем совершенно чистое блюдо. Кирилл углубился в тарелку с винегретом. У Никиты на лице было написано почти открытое страдание. В глазах беременной красавицы быстро скапливалась влага.

Напряжение было прервано звонком в дверь. Агаша просеменила открывать и вернулась с дюжим и румяным военным. Тот стукнул каблуками, прямо по-старорежимному, отдал честь, заорал:

– Младший командир Слабопетуховский! По вашему приказанию, товарищ профессор, машина из Первого военного госпиталя!

Борис Никитич посмотрел на часы, слабо вздохнул:

– Ой, уже половина восьмого, – встал, поцеловал Мэри Вахтанговну. – Я вернусь сразу после операции.

Младший командир Слабопетуховский направился к выходу, на ходу подкрутив карикатурный ус, что-то шепнул тут же зардевшейся старой девушке Агафье. Профессор вышел за ним.

Мэри Вахтанговна, гордо подняв подрагивающий подбородок, демонстративно не смотрела в сторону дочери.

– Какая жестокость, – проговорила она. – Какая самовлюбленность! Так ничего не замечать! Отец жертвует всем ради своих больных, ради своего подвижничества! Не знает ни дня, ни ночи...

– Да что, в конце концов, происходит?! – воскликнула Нина. – Что за МХАТ тут разыгрывается?

Никита положил сестре на плечо свою весомую руку с шевроном:

– Спокойно, Нинка. – Он повернулся к матери и мягко спросил: – Мама, может быть, мы должны объяснить Нинке?..

Мэри Вахтанговна резко встала из-за стола:

– Не вижу никакой необходимости! Нет ничего, что нуждается в объяснении! – Драматически сжав руки на груди, она быстро вышла из столовой.

Никита, шепнув сестре: «Поговорим завтра», пошел вслед за матерью. Весело начавшийся ужин дымился в развалинах.

Кирилл как бы с некоторой безразличностью кончиками пальцев оттолкнул от себя номер «Нового мира» и исподлобья уставился на Нину:

– Если этот клеветнический номер был запрещен, где ты его достала, позволь спросить?

Нина схватила журнал, выпалила прямо брату в лицо:

– Не твое дело, сталинский подголосок!

Кирилл совсем уже в партийном стиле шарахнул кулаком по столу:

– Ты считаешь себя идейной троцкисткой?! Дура! Пиши лучше свои стишки и не лезь в оппозицию!

Отшвырнув стулья, оба молодых отпрыска Градовых вылетели из столовой в разные стороны.

Агаша, вскрикнув уже даже и не в стиле МХАТа, а прямо в своей природной замосквореченской, то есть Малого театра, манере, скрылась на кухне.

В полной растерянности разъехался четырьмя лапами по паркету Пифагор.

За недавно еще густо населенным столом остались только Пулково и Вероника. Она приложила платок к глазам, стараясь не расплакаться, но потом высморкалась в этот платок и неожиданно рассмеялась.

– Наш Кирка совсем уже очумел по партийной линии, – сказала она.

Пулково налил себе рюмочку и подцепил треугольничек соленого груздя.

– М-да-с, и всюду страсти роковые, – произнес он как раз то, что и должен был произнести холостяк-джентльмен, глядя на ссору в большом семействе.

Вероника улыбнулась ему, показывая, что помнит, как год назад в этом доме они едва ли не флиртовали.

– Вот видите, Леонид Валентинович, еще год назад здесь, помните, Мэричкин день рождения, я крутилась, кокетничала, а сейчас... – Она показала ладонями, будто крылышками, на живот. – Вот видите, как изуродовалась.

– Ваша красота, Вероника Александровна, немедленно восстановится после родов, – сказал он.

– Вы думаете? – совсем по-детски спросила она и тут же накуксилась. – Ох, какая дура!

Пулково глянул на часы, встал прощаться, взял руку Вероники в обе ладони:

– Между прочим, я сейчас часто играю на бильярде с одним интересным военным, командиром полка Вадимом Георгиевичем Вуйновичем. Он нередко вспоминает вас с Никитой... вас особенно...

– Не говорите ему, что мы приехали! – воскликнула она.

В следующий момент оба вздрогнули: из кабинета начали разноситься бурные драматические пассажи рояля. Пифагор бросился к дверям, ударил в них передними лапами. Выскочила Агаша, схватила его за ошейник:

– Тише, Пифочка, тише! Теперь наша мамочка сами лечатся!

Мэри Вахтанговна музицировала весь остаток вечера. Нине в ее комнате наверху иногда казалось, что рояль обращается прямо к ней, то требует, то просит сойти вниз и объясниться. Она злилась на эти воображаемые призывы: сами что-то скрывают от нее, а потом устраивают сцены. Обвиняют в равнодушии, а самим наплевать на жизнь дочери! Разве хоть раз мать или отец, не говоря уже о братьях, спросили, что происходит в «Синей блузе», в «Лито», в отношениях с друзьями, с Семеном... Все разговаривают с ней только каким-то раз навсегда усвоенным дурашливым тоном, как будто она не взрослеет, не мучается проблемами революции. Да и что для них революция? Они просто счастливы, что она отходит на задний план в жизни страны, что прежняя их комфортная обыденщина так быстро восстанавливается. Чем, по сути дела, мои родители отличаются от нэпачей, от какого-нибудь Нариман-хана из «Московского Восточного общества взаимного кредита», о котором недавно писал Михаил Кольцов? Тот ликует в своем банке под защитой швейцаров в зеленой униформе, здесь – дворянские фортепианные страдания, вечерние туалеты для выездов в оперу... «Нормальная жизнь» возвращается, какое счастье!

Не раздеваясь, она валялась на своей кровати, пытаясь читать «Непогашенную луну», но не читалось никак, строки ускользали, набегали одна за другой досадные мысли: «Как-то не так я живу, что-то не то я делаю, почему я позволяю Семену так себя вести со мной, почему я стесняюсь своей романтики, своих стихов, почему я не откровенна сама с собой и не могу сказать себе, что на ячейке мне скучно, почему...»

Она заснула с открытой книжкой «Нового мира» на животе и очнулась только от шума подъезжающего автомобиля. Хлопнула калитка. Нина выглянула в окно и увидела своего любимого отца. Веселый, в распахнутом пальто, он шел в свете луны по тропинке к дому. Значит, операция прошла удачно. Стукнула дверь, застучали каблучки. Любимая мать побежала навстречу мужу. Слышны их веселые голоса.

Нина погасила лампу, но продолжала сидеть, прижавшись лбом к стеклу. Луна парила в чистом небе над серебряноборскими соснами. По тропинке к дому теперь шествовал, поводя гвардейскими плечами, младший командир Слабопетуховский. Послышался его паровозный голос: «А я гляжу, печка-то у вас на кухне малость дымит, Агафья Власьевна». – «Ой, не говорите, товарищ Слабопетуховский! – отвечал пронзительный от счастья голос Агаши. – Не печь, а чистый бегемот! Сажень дров на неделю!»

Нина вытащила тоненькую книжечку Пастернака, открыла наугад и прочла:

Представьте дом, где, пятен лишена
И только шагом схожая с гепардом,
В одной из крайних комнат тишина,
Облапив шар, ложится под бильярдом.

Тишина в конце концов действительно улеглась. Сквозь дремоту Нине почудилось, что по соседству, в спальне родителей, кто-то занимается любовью. «Но этого же не может быть», – улыбнулась она и заснула.

Глава IV

Генеральная линия

Северное бабье лето наутро обернулось сильным холодным дождем, лишенным какого-либо поэтического контекста. Кирилл Градов в кургузом пальтишке и рабочей кепочке, спасая книги за пазухой, быстро шел по улице поселка к трамвайному кольцу. На полпути его догнала легковая машина. Рядом с водителем сидел старший брат, Никита, в полной форме комдива. Машина притормозила, Никита открыл дверь и пригласил Кирилла:

– Слушай, я еду в наркомат. Садись, подвезу!

Не замедляя шага, Кирилл махнул рукой:

– Нет, спасибо! Я на трамвае!

Никита сделал знак шоферу, и автомобиль медленно поехал вровень с идущим. Красный командир с улыбкой смотрел на нахохленного парработника:

– Перестань дурить, Кирка! Ты же промокнешь!

– Ничего, ничего, – пробормотал Кирилл и вдруг осерчал: – Езжайте, езжайте, ваше превосходительство! Мы к генеральским авто не приучены!

Никита тогда тоже немного разозлился:

– Ух ты, какие гордые нынче у нас марксисты! Да ведь ты и сам сейчас в ранге градоначальника, шутка ли, второй секретарь Краснопресненского райкома!

Не ответив, Кирилл резко свернул за угол. Шофер посмотрел на комдива: прямо или направо? Никита показал – езжайте за ним! Автомобиль повернул за Кириллом, невзначай пересек большую лужу, обдав идущего мутной водой. Никита не поленился наполовину вылезти и встать правой ногой на подножку.

– Послушай, Кирка, я давно тебе хотел сказать. Зачем ты культивируешь этот псевдо-пролетарский стиль? Ну где ты откопал этот пальтукан? Дома висят без дела по крайней мере три хороших драповых пальто, а ты ходишь в рогоже! Штаны у тебя на задку так вытерлись, что можно как в зеркало смотреться! Кому и что ты хочешь доказать?

– Ровным счетом ничего и решительно никому! – рявкнул в ответ младший брат. – Оставьте вы все меня в покое! Я получаю партмаксимум сто двадцать три рубля в месяц и должен одеваться и питаться в соответствии с этим. В партии еще сохранился здравый смысл! Мы не пойдем за теми, кто внедряет в РККА дух старорежимного офицера.

Задетый за живое, Никита вызывающе захохотал. Он даже забыл о присутствии шофера с треугольничками в петлицах.

– Ха-ха, ты думаешь, твои любимые вожди такие же аскеты, как ты?

Кирилл ткнул в его сторону гневным указательным:

– Повторяешь мелкобуржуазные сплетни, комдив!

В этот момент в конце улицы появился трамвай, неся на борту рекламу известного лефовца Александра Родченко: «Не грустили, вкусно ели Макароны-Вермишели!» Не глядя больше на брата, Кирилл опрометью припустил к кольцу. Никита сердито захлопнул дверцу машины. Проезжая мимо остановки, он смотрел, как граждане бросаются в вагон, стремясь захватить сидячие места. Признаться, он уже забыл, как это делается.

В сухую погоду в трамвае, несмотря на давку, все шелестят газетами, умудряются их разворачивать над головами или между ног. Нынче намокшие газеты не шелестели и не спешили разворачиваться, однако граждане все равно хорошо читали. Прогрессивные иностранцы постоянно отмечают, что в СССР самая читающая публика. Кирилл недавно дискутировал вопрос о печати с помощником отца Саввой Китайгородским. Собственно говоря, он даже не

дискутировал – что можно дискутировать с типичным буржуазным либералом? – а проверял на Савве правильность партийных установок.

Естественно, мусье Китайгородский недоволен. Чего стоят все послабления нэпа, если печать осталась в руках у правящей партии, если ни одна дореволюционная газета не восстановлена?

Вот чего они хотят: не только нэповских лавок, но разнузданной прессы. Значит, в этом направлении мы держим правильный курс. Никаких поблажек. Пресса – здесь Троцкий прав – острейшее оружие партии!

Кирилл стоял в углу трясущегося вагона, зажатый с трех сторон мокрыми, хмурыми пассажирами такого же, как и у него, пролетарского обличья. Газетные заголовки маячили у него перед глазами. Пресса партии богата событиями. И очень хорошо, что они даются в партийной интерпретации: человека не бросают в одиночку на съедение факту, наоборот, учат потреблять факты, оценивать их с классовых позиций.

Расстрел за растрату; избирательного права лишены кулаки, служители культа, бывшие царские чиновники; увеличивается экспорт леса; за покупку жилплощади – выселение; «Рычи, Китай!»; футбол: сборная сахарников и совторга бьет «Пролетарскую кузницу»; центральный аэродром им. т. Троцкого, новые аэропланы «Наркомвоенмор», «Л. Б. Красин», «Имени тов. Нетте», полет шара, аэронавт – слушатель академии воздухофлота тов. Федоров... Много, много фактов, жизнь в красной республике бурлит; вот еще – отповедь Пилсудскому; а вот вам и реклама – краски, хна-басма, «Тройной» одеколон, вежетьаль... на потребу мещанству...

Отвернувшись к окну, Кирилл вытащил свое чтение – толстую книгу. Он делал вид, что не замечает, как две его постоянные попутчицы, девчухи лет двадцати, совсем не противные на вид секретарши-машинистки, поглядывают на него и хихикают.

– Все-таки он очень хорошенький, не находишь? – сказала одна.

– Очень уж серьезный, – сказала другая. – Что же он читает? – Она вполне бесцеремонно заглянула Кириллу под локоть. – Ну и ну, «Учебник хинди»!

Кирилл молчал, стискивал зубы, хиндусские слова мельтешили перед ним без всякого смысла, будто только добавляли вздору в общий вздор вокруг его столь цельной личности: споры с Нинкой и Никиткой, мокрая, гнусная одежда, идиотизм газет, волнение и трусость от близости двух этих девиц.

Трамвай подходил к Песчаным, там пересадка. Пассажиры готовились к еще одной атаке.

Причина, по которой комдива Градова в этот раз вызвали в Москву, была, с его точки зрения, несколько надуманной. Новый наркомвоенмор Климент Ефремович Ворошилов делал большой доклад о современной военной стратегии, что ж, прекрасно, в добрый час, но зачем же отрывать такое количество командиров на местах от неотложных практических дел, в частности от отработки взаимодействия кавалерии и танкеток в условиях наступательных действий на лесостепной равнине? Да и в личном смысле эта поездка была в высшей степени не ко времени – Вероника на последнем месяце беременности. Никита надеялся, что она на этот раз останется в Минске под присмотром привычных и вполне опытных врачей окружного госпиталя, которые к тому же знали все ее «бзики», но она и слышать ничего не хотела: «Упустить поездку в родную Москву, в бурлящую столицу, вырваться хоть на неделю из этого затхлого Минска; даже не думай об этом!»

Провинциальное прозябание, бессмысленная трата «лучших лет» были едва ли не главными темами их домашних разговоров. В лучшие дни он шутил с женой, называя ее «четвертой чеховской сестрой» с этим их вечным журавлиным кличем: «В Москву, в Москву!»; в худшие, когда она впадала в кромешный мрак, Никита иной раз попросту выскакивал из дома и отправлялся без всякого дела в штаб, где часто сидел в темном кабинете и отгонял свои собственные, кронштадтские мраки.

И вот теперь он сидит в большом конференц-зале наркомата, смотрит на лоснящуюся физиономию докладчика, а думает только о жене, о том, что, не дай Бог, это начнется у нее в каких-нибудь Петровских линиях или в Лубянском пассаже, куда она, конечно же, отправилась инспектировать модные лавки.

Ворошилов, похоже, просто наслаждался своей ролью главнокомандующего, военного философа и стратега. Плотненький, цветущий, с маленькими аккуратными усиками, он даже в своей идеальной, явно сшитой на заказ форме выглядел преуспевающим купчиком с Кузнецкого Моста. При внимательном наблюдении в его лице со смыслеными глазками можно было уловить промельки исключительной глупости. Время от времени, как бы напоминая о себе, кто он такой, Климент Ефремович на мгновение застыл, фиксировал монументальность.

После лекции в коридоре Никиту окликнули трое бравых командиров. одного из них он сразу узнал – Охотников! Они обнялись. Охотников бросил взгляд на его петлицы:

– Ого, ты уже комдив, Никита!

– Вот уж не ожидал тебя увидеть, Яков, – сказал Никита. – Давно из Закавказья?

– Да я сейчас на курсах, в академии. Набираюсь премудрости, – смеялся Охотников. – Знакомься с моими однокашниками. Аркадий Геллер, Володя Петенко.

По манере рукопожатия Никита с удовольствием опознал кадровых крепких бойцов.

– Очень рад. Позвольте, Аркадий, а вам не кажется, что мы уже встречались?

– Конечно, – сказал Геллер. – На Польском фронте, в октябре двадцатого. Бронепоезд «Гроза Октября».

– Совершенно верно! – воскликнул Никита.

Из конференц-зала в этот момент вышел в сопровождении высших чинов Ворошилов. Под мышкой у него была папка с только что прочитанным докладом. Круглая физиономия поворачивалась, очевидно ожидая восторженных взглядов со стороны курящих в коридоре командиров. Охотников довольно небрежно махнул головой в сторону наркома:

– Ну как тебе доклад нового командующего?

Никита дипломатически пожал плечами.

– Ну не новый ли Карл Клаузевиц? – насмешливо процедил Геллер.

– Бо-о-льшой теоретик! – хохотнул Петенко.

Никита засмеялся:

– Я вижу, друзья, Москва и на вас действует своей крамолой.

Охотников взял его под руку, заглянул в лицо:

– А что же? Оппозиция, конечно, слишком горлопанит, но во многом она права. Армия лучше других знает хватку бюрократов.

Вспоминая потом этот короткий разговор, Никита пришел к выводу, что он открыл ему сразу несколько важных тем, которые бредили столицу. «Бюрократами» здесь называли сталинистов, то есть большинство существующего Политбюро. Слушатели Военной академии имени М. В. Фрунзе близки к высшим военным кругам. Высказывания Охотникова, Геллера и Петенко явно показывают, что в этих кругах зреет раздражение против навязывания РККА «бюрократического» стиля руководства. Если эти круги еще не стали союзниками оппозиции, то, во всяком случае, они симпатизируют ей, хотя бы уж по тому, что она выступает против тех, кто после двух блестящих личностей, Троцкого и Фрунзе, продвинул на высший военный пост страны бездарного Ворошилова. Ну а симпатии армии – это всегда достаточно серьезно.

По сути дела, разговор прервался в самом интересном месте, сожалел потом Никита. Он увидел проходящего мимо по коридору комполка Вуйновича. Он даже столкнулся с ним взглядом, но тот немедленно отвернулся, не проявляя ни малейшего желания останавливаться.

– Вадим! – крикнул Никита.

Вуйнович, не оборачиваясь, прошел по коридору и свернул за угол.

– Вадим, черт тебя дер!

Оставив «академиков», Никита побежал по коридору, тоже повернул за угол и остановился. Теперь они были одни в пустом крыле здания. По паркету четко стучали удаляющиеся шаги Вуйновича.

«Как это глупо, – думал Никита, – порвать с лучшим другом из-за какой-то двусмысленной ситуации, в которую попал отец друга. Даже если бы он был замешан в то темное дело, то я тут при чем? А он к тому же и не замешан вовсе, а просто, просто... Эх, как это глупо!»

– Вадим, это глупо! Давай поговорим!

Не оборачиваясь, Вуйнович открыл дверь на лестницу и исчез.

Секретарши, делопроизводители и охрана Московского городского комитета ВКП(б) без излишнего восторга, мягко говоря, взирали на вторжение рабочих партийных масс в кожанках и коротайках, кепках и красных косынках. В учреждении давно уже все было доведено до вполне приличного уровня – паркет натерт, ковровые дорожки расстелены и на мраморных лестницах закреплены медными прутьями, буфетчицы в белых наколках разносили по кабинетам чай и свежайшие бутерброды, разговоры велись приглушенно, пепельницы немедленно очищались, бюсты великого Ленина протирались самым тщательным образом, может быть, даже лучше, чем предшествовавшие им мраморные нимфы Коммерческого общества, и вдруг явился пролетариат, как еще иначе скажешь, громко окликают друг друга, топают, сморкаются, с подошв сметают ошметки грязи, распространяется запах неумытости и махры; как будто военный коммунизм вернулся.

Конференц-зал на третьем этаже забит работниками горкома и райкомов, партактивом крупнейших предприятий. Кирилл Градов в своей вечной затрапезе, люстриновом «спинжаке» и ситцевой косовороточке, по внешнему виду гораздо ближе к людям окраин, чем к холемым людям центра, и этим он чрезвычайно доволен. Впрочем, старшие товарищи высоко ценят его теоретическую подкованность, а к маленьким псевдодемократическим чудачествам относятся снисходительно: у молодого человека впереди достаточно времени, чтобы постичь неписанные правила партийного этикета. Державший речь секретарь МК как раз являл собой идеальный тип растущего партийца середины двадцатых годов: сталинского фасона френч, рыковская бородка, бухаринская всезнающая усмешечка.

– Товарищи, – говорил он, – оппозиция предпринимает отчаянные усилия обратиться к рабочим через голову партии. Группа их лидеров явилась в ячейку завода «Авиаприбор», была предпринята попытка прямого срыва партийных решений. Другие организовали собрание ячейки группы тяги Рязанской железной дороги, и рабочие вынуждены были принять председательство таких сомнительных товарищей, как Ткачев и Сопронов! Там выступал член Политбюро Троцкий. В ячейке Наркомфина выступал Рейнгольд.

Оппозиция также разослала своих гастролеров по заводам «Богатырь», «Каучук», «Морзе» и «Икар». С прискорбием следует заметить, что Госплан и Институт красной профессуры стали настоящими форпостами оппозиции, их люди совершали постоянные вылазки и агитируют рабочих Трампарка и Завода Ильича.

То же самое происходит в Ленинграде, но это сейчас не наша забота. Главная задача коммунистов Москвы – пресечь все контакты вождей оппозиции с рабочими. Говоря откровенно, лучшим решением вопроса было бы подключение органов ГПУ, но мы сейчас не можем пойти на это: поднимется страшный вой. Сегодня мы должны разослать группы нашего актива по всем предприятиям, где, по надежным сведениям...

Секретарь МК ухмыльнулся. «Красноречивая ухмылка, – подумал Кирилл, – сугубо чекистская, всесильная, наглая и темная ухмылка». Он вдруг почувствовал, что ненавидит этого человека, но тут же отогнал это предательское «либеральное» чувство. Зачем видеть в нем гадкого человека, вообще отдельного человека? Это представитель партии, и сейчас у нас одна задача – не допустить раскола!

– ...По надежным сведениям, – продолжал секретарь МК, – вечером будут предприняты новые попытки срыва партийных решений. Товарищ Самоха, немедленно приступайте к распределению товарищей по группам.

Закончив выступление, секретарь МК спустился к массам, ответил на несколько вопросов, в основном отсылая спрашивающих к товарищу Самохе, потом с явным облегчением удалился во внутренние покои. Там, за дверью, мелькнул дивный, располагающий к отдыху диван.

Товарищ Самоха, жилистый чекистский оперативник в традиционной кожанке, которую он явно донашивал со времен более веселых, деловито распределял путевки по заводам. Протянув Кириллу бумагу со штампом ВЦСПС (узаконенная липа, на случай оппозиционных провокаций, будто МК и ГПУ организовали обструкцию), он без церемоний сказал:

– Ты, Градов, со своей группой отправишься на объединенное собрание тяги, пути и электротехники Рязанской ждэ. Там к вам подойдут наши товарищи из Управления. Положение напряженное. Могут появиться высшие вожди оппозиций. Среди рабочих там брожение, а всем известно, что Лев Давыдович на толпу действует гипнотически. Вы должны провалить их резолюции! Любыми методами! Постоянный контакт с ГПУ! Как можно больше личных бесед с рабочими! Запоминайте колеблющихся. Все ясно?

Кирилл подумал: «Вот и моя война начинается, обходные маневры, обманные действия, дымовые завесы».

– Все ясно, товарищ Самоха!

После раздачи путевок актив был приглашен на обед в горкомовскую столовую. Делегаты отправились туда не без удовольствия: обещались разносолы вроде семги, тушеного гуся, заливного поросенка. Кирилл, однако, остался верен себе. Товарищи могут смеяться над уравниловкой, но мне с моим буржуазным благополучным прошлым надо держаться своих принципов.

Он вышел из МК и на Солянке засел в дешевой столовке. Мясные щи, макароны по-флотски и кисель стоили ему меньше рубля, точнее, 87 коп. Сидя у окна со своей едой, он смотрел на едоков в сводчатом зале столовки и в окна на москвичей, вся жизнь которых, казалось, вертелась вокруг трамваев: прыгают в трамвай, выпрыгивают из трамвая, смотрят на часы в ожидании своих «Аннушек» и «Букашек», разбегаются с остановок, чтобы пересест на другие трамваи. В Москве в последние годы установилась почему-то немыслимая спешка, все бегут, впрыгивают, выпрыгивают, кричат друг другу «ну, пока!», «всего!»; и никто не догадывается, что сегодня произойдут события, которые, может быть, определят будущее страны на данный конкретный период реконструкции.

Ранним вечером того же дня Вероника Градова, молоденькая комдивша, сидела в сквере, что на углу Кузнецкого и Петровки. Весь день она ходила по лавкам, приценивалась, примерить, увы, ничего уже было нельзя, кроме шляпок. В конце концов она даже купила себе кое-что, глубоко заветное, а именно контрабандную польскую жакетку. Недавно как раз прочла сатирические строчки Маяковского в «Известиях»: «Знаю я – в жакетках этих на Петровке бабья банда. Эти польские жакетки к нам привозят контрабандой» – и зажглась в своем Минске – непременно, непременно оказаться на Петровке и заполучить польскую жакетку. Не все же время брюхатиной буду ковылять, скоро уж и обтяну жакеткой осиную талию, примкну к этой «бабьей банде» на Петровке. Сатирик, сам того не желая, из негативного образа сделал какой-то клан посвященных, дерзких москвичек в «польских жакетках». Пока что все-таки придется пребывать в ничтожестве.

Она вдруг поняла, что ее больше всего ранит – отсутствие или полное равнодушие мужских взглядов. Раньше у каждого мужчины при виде красавицы появлялось в глазах некоторое обалдение, и не было ни одного, буквально ни одного, который не посмотрел бы вслед. Теперь никто не смотрит, все утрачено, беременность – это преждевременная старость.

Она нервно посматривала на часы: Никита опаздывал, а Борис IV толкнул пару раз ножкой. Почему все так уверены, что будет мальчик? Градовская патриархальщина. Вот возьму и рожу девчонку, а потом брошу своего солдафона и уеду в Париж, к дяде. Выращу француженку, звезду экрана, новую Грету Гарбо... уеду с ней еще дальше, в Голливуд... Вот так когда-нибудь мое лицо – ее лицо – вернется в эту паршивую Москву, как плакат Мэри Пикфорд на афишной тумбе.

Ей стало не по себе, она приложила руку к животу под широченным пальто, дыхание сбивалось. Не дай Бог, начну прямо здесь. За афишной тумбой с именами Пикфорд, Фербенкса и Джеки Кугана, а также гимнастов Ларионова – Дьяволло остановился извозчик. С дрожек соскочил военный. Она не сразу сообразила, что это Никита.

– Ну наконец-то! – вскричала она, когда он приблизился, весь в своих нашивках и бренденбурах.

Никита с улыбкой поцеловал ее.

– В вашем положении, сударыня, в постельке надо лежать, а не назначать свидания господам офицерам!

Вероника тут же разнервничалась, закуксилась, чуть не расплакалась.

– Неужели ты не понимаешь, что я не могу без Москвы? Да для меня просто пройтись по Столешникову – истинное счастье! Что же, в кои-то веки приехать в Москву и сидеть в этом вашем Серебряном Бору, выращивать градовского наследника? Ну уж это просто издевательство!

Никита стал целовать ее в щеки, в припухший нос.

– Спокойно, спокойно, милая. Скоро все уже будет позади!

Вероника отворачивалась.

– Ты только и боишься за своего детеныша, а на меня тебе наплевать!

– Ну, Никочка, ну, деточка!

Она вытерла лицо, спросила чуть поспокойнее:

– Ну что там, в этом вашем дурацком наркомате? Перевели тебя наконец в Москву?

– Напротив, меня назначили замначштаба Запада.

– Значит, опять этот вонючий Минск, – с унынием протянула Вероника. – Если бы хоть Варшава была наша.

Никита вздрогнул. Легкомысленная женщина вдруг воткнула булавку в сердцевину тайных стратегических совещаний.

– Что ты говоришь, Ника! Варшава?

– Ну а что? Все-таки какая-никакая, а столица, Европа. – Она уже сообразила, что коснулась чего-то самого запретного, и теперь не без прежнего наслаждения лукавила, дурачилась: – А что? Надо взять наконец Варшаву, пожить там немного, а потом уйти. Предложи в наркомате.

Никита уже хохотал:

– Киса, киса, ну перестань валять дурака! Посмотри, какой у меня для тебя сюрприз – билеты к Мейерхольду!

Вероника была поражена.

– Билеты к Мейерхольду?! Да еще и на «Мандат»? Ну, Никита, ты превзошел самое себя! – Давно он уже не видел ее такой сияющей. – Когда это? Сегодня? – Вдруг набежала мгновенная туча. – Но я же не успею одеться!

Никита опять зацеловал все ее щеки и нос.

– Ну, Викочка, ну, Никочка, ну зачем тебе как-то особенно одеваться? Ты и так вполне одета для... – Тут он сообразил, что чуть-чуть не ляпнул бестактность, и поправился: – Для революционного театра, в конце концов. Мы еще успеем поужинать в «Национале», и ты увидишь, там все ахнут от твоего платья с белорусскими мотивами.

Вероника заворчала с неожиданным добродушием:

– Ты просто хотел сказать, что для моего пуза и так сойдет. Знаешь, Никита, из всех этих гнусных мужей ты не самый худший. Господи, как же я мечтала сходить к Мейерхольду!

Объединенное собрание ячеек Рязанской железной дороги состоялось в огромном депо по ремонту паровозов. Депо было настолько огромным, что многосотенному собранию хватило одного угла, где была воздвигнута временная платформа и подвешен на кабеле мостового крана портрет бессмертного Ильича. За спинами аудитории между тем зиждились молчаливые паровозы, что придавало событию некий восточно-мистический оттенок, будто боевые слоны замыкали выходы с какой-нибудь площади Вавилона.

Аудитория была по большей части в спецовках – еще не успели переодеться после смены; большинство голов накрыто кепками, косынками. Проинструктированные сегодня в горькоме депутаты вперемежку с «кожаными куртками» сидели кучками, зорко оглядывались. Иной раз появлялись личности в обиходных пиджаках с галстуками. На таких смотрели с подозрением, особенно если туалет дополнялся шляпой, а тем паче очками.

В общем, было сыро и мерзко, и, несмотря на внутреннюю разгоряченность, собрание иногда прошибал лошадиный пот: цех не бездействовал, беспартийные рабочие открывали гигантские или, так скажем, циклопические ворота, присвистывала позднеоктябрьская непогода.

«Почему я не занялся лингвистикой? – вдруг с тоской подумал Кирилл Градов. – Ведь я так люблю языки! Сидел бы сейчас в библиотеке. Однако кто же будет бороться за истинный социализм, если вся интеллигенция разойдется, попрячется в лингвистике, в микробиологии?...»

В президиуме собрания под портретом Ленина сидело несколько представителей оппозиции и «генеральной линии». На трибуне ораторствовал Карл Радек, личность, российскому пролетариату глубоко чуждая, если не подозрительная. Не было недели, чтобы по Москве не начинали расползаться новые радековские шутки о головотяпстве советской бюрократии, и звучали они оскорбительно не только для сталинистов, но в некоторой степени и для масс, как бы намекая на извечную косность русского народа. Радек говорил по-русски грамматически правильно, но с очень сильным акцентом, а главное, с какой-то сбивающей с толку интонацией.

От одного только слова «това'истчи» рабочие службы тяги начинали с ухмылкой переглядываться. Конечно, как сознательные члены партии, интернационалисты, они о национальности оратора не высказывались, но уж можно поручиться, что каждому пришло в голову что-то вроде: «слишком жидовствующего жида прислали», или «что-то очень уж еврейский этот еврей», или уж в крайнем случае «какой-то не наш этот товарищ еврей».

Оратор между тем продолжал развивать свои логически убийственные тезисы:

– ...Идея нынешнего ЦК о построении коммунизма в одной отдельно взятой стране разит затхлостью пошехонской старины. Ей-ей, това'истчи («ей-ей» в его устах прозвучало не в смысле «ей-ей», а в смысле «ой-ой»), этот тезис по своей нелепости не может не напомнить сочинений писателя-сатирика Салтыкова-Щедрина о различных старороссийских уездных тугодумах.

Товарищи, сталинский ЦК потчует рабочих гулливеровскими дозами квасного патриотизма, а между тем Советы теряют рабочее ядро, индустриализация тормозится частным капиталом, на международной арене мы буксуем, теряем авторитет среди революционных масс! Товарищи, вождь мирового пролетариата товарищ Троцкий вместе с другими соратниками Ильича призывают вас – вдохнем новую жизнь в нашу революцию!

Радек сошел с трибуны разочарованный – железнодорожников за неделю будто подменили. Поначалу еще слышны были жиденькие аплодисменты и возгласы: «Правильно», «Ура!», «Долой центристов!», но вскоре эти хлопки и выкрики потонули в шиканье, свисте, бешеных воплях: «Долой троцкистов!», «Тащи его из президиума, братцы!», «Никаких компромиссов

с оппозицией!», «Заткнуть рты!», «Вон из партии!». Потом уже ничего нельзя было различить, сплошная «буря негодования». Он понял, что тут успели здорово поработать, что было ошибкой вот так легкомысленно ехать в это депо, выступать вот в таком духе, со всеми этими «Щедриными» и «Гулливерами», да и вообще не было ли ошибкой примыкать сейчас к анти-сталинскому крылу, вот так активно высовываться?

Кирилл Градов вместе с большинством негодовал, вскакивал со стула, потрясал кулаком, выкрикивая что-то уже не очень-то связанное. Его распирало блаженное, вдохновляющее чувство единства. Вот это и есть классовое чувство, говорил он себе, вот оно наконец пришло.

На задах собрания возле одного из ремонтируемых паровозов стояла группа гэпэушников во главе с Самохой. К этим «классовое чувство» в данный момент явно не пришло, потому что оно их никогда и не покидало. Они деловито озирали аудиторию железнодорожников-партийцев, иногда перешептывались. Пока все шло, как задумано.

Из своего третьего ряда Кирилл Градов закричал в президиум:

– Требую слова!

Председательствующий поднял руку со звоночком. И жест, и звук выглядели смехотворно среди ревущей толпы в паровозном депо. Наконец голос председательствующего пробился сквозь крики:

– Товарищи, внимание! Прения продолжаются! В списке записавшихся у нас сейчас очередь товарища Преображенского!

Преображенский, один из лидеров оппозиции, решительно встал из-за стола президиума и, заправив за спину, за ремень складки своей хорошего сукна гимнастерки, направился к трибуне.

– Требую слова в порядке ведения! – кричал между тем Кирилл.

Вдруг на платформу запрыгнули два парня в кепаках, по виду скорее не рабочие, а марьино-норощинские мазурики. Криво улыбаясь и распахивая руки, они преградили путь оппозиционеру. Крепыш Преображенский мощно пытался пробиться к трибуне, парни же висели на нем, с ног не сбивая, но не давая сделать и шагу.

– Что за безобразие?! Негодяи! – кричал Преображенский.

Лошадиный хохот гулко разносился в ответ по гигантскому помещению.

Кирилл в этот момент вспрыгнул на платформу с другой стороны и занял трибуну.

– Товарищи, прошу минутку внимания! – что есть силы закричал он.

Собрание чуть-чуть утихло, хотя свист и шиканье все еще слышались то там, то здесь.

– Товарищи, я молодой коммунист, – продолжал Кирилл. – Единство партии – вот что для нас важнее воздуха! Предлагаю осудить раскольнические и высокомерно-вождистские действия товарищей Троцкого, Зиновьева, Пятакова! Предлагаю вынести резолюцию о прекращении дискуссии с оппозицией!

Бурный подъем в зале. Огромное большинство кричало, с шапками в кулаках:

– Правильно! Довольно трепать партию! Трещины не допустим! Долой дискуссию!

Преображенский наконец отделался от своих «кепариков», подошел к трибуне и стукнул кулаком:

– Что здесь происходит?! Организованная провокация?! Я требую, чтобы мне дали слово!

Кирилл, не глядя на стоявшего вплотную к нему человека с бурно вздымающейся грудью, с потоками пота, катящимися по лицу и шее, закричал в зал:

– Предлагаю слова товарищу Преображенскому не давать!

Ответом был новый взрыв антиоппозиционных страстей. Долой! Долой! Долой!

Преображенский махнул рукой и пошел на свое место.

Собрание все-таки продолжалось еще не менее двух часов и закончилось ночью. Оппозиция была разбита в пух и прах.

Расходясь в темноте, спотыкаясь о рельсы, партийцы еще продолжали переругиваться. Преображенский шел в группе своих товарищей и молчал. Почему-то этот ночной проход через железнодорожную территорию напомнил ему что-то из дореволюционных, эмигрантских времен. «Нас выталкивают отсюда, – думал он. – Мы становимся чужими. Как бы снова не оказаться в эмиграции». Обернувшись, он заметил издали юнца, который перехватил у него трибуну. Отстав от товарищей, он подождал его.

– Градов, можно вас на минуточку?

Следы неподдельного вдохновения все еще как бы трепетали на молодом лице, если это только не были следы стыда, что вряд ли. Кирилл приостановился.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.